

МАТЕРИАЛЫ

XXIV

ВЫПУСКА

URBI

Санкт-Петербург, 2000

*14 сентября 1999 года
в Санкт-Петербурге
голландскому слависту и прозаику
КЕЙСУ ВЕРХЕЙЛУ
была вручена
ежегодная Литературная премия
имени П. А. Вяземского,
присуждаемая редколлегией
альманаха «Urbī»
за лучшие произведения,
отвечающие идеалам
художественного аристократизма
и высокого дилетантизма.*

Urbi — это Orbi сегодня!

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Садовским
пог редакцией
Кирилла Кобриня и Алексея Пурина*

Выпуск двадцать четвертый

Нижний Новгород • Санкт-Петербург

МАТЕРИАЛЫ

XXIV

ВЫПУСКА

URBI

Санкт-Петербург, 2000

ББК 84. Р 2
У 69

У 69 **Urbi:** Литературный альманах. Выпуск двадцать четвертый: **Материалы XXIV выпуска.** — СПб.: АОЗТ «Журнал „Звезда“», 2000. — 216 с.

ISBN 5—7439—0066—3

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69;
Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину
E-mail: kobrin@sandy.ru

Компьютерное макетирование Н. П. Егоровой

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 062572 от 15 июня 1998 г.

Издательство «Журнал „Звезда“»
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Подписано в печать 15.01.2000. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,5. Тираж 300 экз. Заказ № 13

Типография АОЗТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
195220, Санкт-Петербург, Гжатская, 21.

ISBN 5—7439—0066—3 © Владимир Садовский (составление), 2000
© Кирилл Кобрин (составление), 2000
© Алексей Пурин (составление), 2000

I

Борис Парамонов

ПУШКИН СЕГОДНЯ

(к проблеме мультикультурализма)

Замечательнейший из гоголевских абсурдов — это слова о Пушкине как образе русского человека через 200 лет. Не только в России ничего подобного не произошло, но и вообще в сегодняшнем мире непредставимо. Вот кратчайшая формула современности: это мир, в котором невозможен Пушкин.

Есть письмо Н. Я. Мандельштам к Л. Я. Гинзбург, где она говорит, надо думать, со слов своего мужа, что нельзя построить науку о поэзии, нельзя вывести поэта из движения культуры, из традиции, из школы, — ибо поэт всегда прерыв традиции, всегда случайность. Мутация, сказать по-нынешнему. Нет у него генотипа, а может и самых генов нет — один воздух, пустота, как было сказано именно о Пушкине, и не Синявским отнюдь, а Надеждиным, на сто с лишним лет раньше. И никакой это не парадокс, а просто определение творчества, каковое всегда — из ничего. Простенький каламбур: не гены, а гений. Самозарождение, партеногенез.

С другой стороны, кто еще, кроме Пушкина, столь законно может претендовать на некую универсальность — то есть на тотальную включенность в культуру? В культуры, еще лучше сказать. Это и есть, вроде бы, пресловутый мультикультурализм. Пушкинский вариант — репрезентация его в единственном числе собственной личности. Вот это и невозможно сегодня — не потому что культура едина, а потому что личностей нет. Есть носители прав, в том числе права демонстрировать собой, собственным непросвещенным естеством, первозданным Я — культуру. А есть ли Я в первозданности, в комке плоти? Культура понимается сегодня не как усилие, а как данность, как едва ли не природный образ жизни, растительно-животное существование. Говорят о культуре уличных банд, культуре наркомании, культуре быть жертвой. Пример последней — пресловутая Дайана, которая так и не сумела стать принцессой. Вот так же нынешнему человеку не стать Пушкиным.

Понятно, что нынешние, да и бывшие насельники Букингемского дворца являют культуру не как индивидуальное достижение, а как идею ее — чистая репрезентация. Но это по крайней мере школа и традиция. И как бы ни были правы Мандельштамы, без этой традиции и ориентации никакому индивидуальному

гению не взять планки. У него просто не будет понятия высоты. Формула, однако, всё равно оказывается неуместной: Пушкин невозможен сегодня даже как случайность.

Это, так сказать, метафизика, но существует и социология. Герцен сказал: Пушкин стоит псковского оброка. Вот то, что сегодня не осмелился бы произнести никакой радикал, даже Ноэм Чомский, охотно говорящий о лживой американской пропаганде, выдумавшей миф о терроре красных кхмеров. Я никогда не забуду слышанной в августе 91-го многочасовой передачи Американ Паблик Радио — очень квалифицированного органа медики, посвященной падению коммунизма в СССР. Одним из участников передачи был как раз Чомский. Главный тезис выступавших был: падение советской власти — это ловко проведенная акция Си-Ай-Эй, агентом которой был Горбачев, а началась вся эта серия провокаций с диверсии на Чернобыльской атомной станции. Я не отвлекаюсь в сторону, я просто хочу сказать, что нынешние западные интеллектуалы — против культуры, так же как они против правды. Пушкин сегодня — это та правда, которой никто не признает. Никто не посмеет сказать, что джаз, созданный рабами, лучше рэпа, придуманного свободными обитателями мегаполисов. Потому что трудно, невозможно сказать сегодня, что для созидания культуры не нужна свобода. И я сам не уверен в том, что первую предпочту второй. В этом рок современного человека, усталого раба, под занавес хлебнувшего свободы.

Культура только в плодах своих, в результатах может считаться манифестацией человеческой свободы; в процессе своего созидания — самосозидания — это тяжкий труд, рабствование у формы, добровольно избранный искус. Подчинение правилам во всяком случае — или, пуще того, выдумывание таковых для себя же. А кто сегодня хочет подчиняться, и подчиняется, правилам? Разве что мирные обыватели, законопослушные граждане — люди по определению не творческие. Само произведение искусства может быть названо моделью тоталитарного порядка, и только в искусстве — вот парадокс! — возможен тоталитаризм, то есть предельно жесткая, до конца проведенная организация. Не только машинная логика индустриальной цивилизации, но и эстетический шедевр может быть увиден в тоталитарной символике. Привычка к художественному совершенству потенциально опасна, если художник вдруг задумается над несовершенством окружающего мира: как забыть слова Пикассо, сказавшего, что он не отказался бы от диктаторской власти, если б речь зашла о проведении в жизнь его художественных идей? И надо ли напоминать, что он слово в слово повторил русских футуристов 1918 года? Утопию роднит с искусством перфекционистская установка.

Современник патриархального крепостничества, Герцен просто не предвидел, во что может вылиться псковский оброк — какой поистине всесоюзной барщиной он способен сделаться. Люди, установившие такой порядок, сами же от него отказались. Это был несколько запоздавший, но в той же логике сделанный жест, что и знаменитая деколонизация. Последняя попытка со-

хранить Запад как культуру была предпринята в 1956 году, в момент так называемого Суэцкого кризиса. Известно, чем она кончилась — и попытка и культура: первая — политическим скандалом, вторая — рок-н-ролом (синхронно совпавшие моменты). В эпоху Элвиса Пресли, и поныне называемого королем, невозможна культура как доминация, как репрессия. А без доминации и репрессии какой культуры ожидать, кроме того же рока или, самоновейшее, рэпа?

Освобожденная Африка — вот Пушкин сегодня. Пушкин сегодня — это прежде всегда негр: то, что Синявский назвал негативом поэта, стало сегодня позитивом человека.

В общем это прогресс; точнее — это и есть прогресс, другого не бывает. Таковой идет всегда и только вширь, а не вглубь. У него и не остается много пути, коли нашу эпоху называют, и справедливо, восстанием масс. Просто людей стало больше, и изменились критерии. О каком штучном товаре, о какой высокой кустаршине можно вести речь, если на повестке дня — действительный голод, миллиарды голодных? Г. П. Федотов сказал, что хлеб может стать высоким символом, комфорт — никогда. Высокая культура сегодня, вроде Набокова, — это именно и только комфорт. Социология побеждает метафизику. Произошла реабилитация русского народничества в мировом масштабе. Сегодня эпоха хлеба, а не зрелищ, а если и зрелищ, то не высоких. Всеблагих нынче нет. Тенора есть, но кто сравнит Паваротти с Пушкиным?

Помяная недавно скончавшуюся Айрис Мердок, я набрал на книгу ее философских работ «Экзистенциалисты и мистики» и был поражен заглавной статьей этой книги. Можно не любить ее романы (кроме первого и лучшего — «Под сетью»), но нельзя не признать благородства этой статьи, самого облика человека современной культуры, современного Запада, явленного в этом тексте. Айрис Мердок начинает с того, что, не являясь в ее статье главным, заслуживает упоминания в предлагаемом мной контексте: искусство прошлого было лучше нынешнего. Основная же ее мысль — о новом обосновании морали в двадцатом веке: добро — не метафизический концепт, а цель человеческих усилий, не background, а foreground. Назовите эту цель даже религиозной, но религия при этом лишается своих мифологических черт. Она ориентируется на человеческие нужды; буквально у Мердок — на нужды голодных и плачущих. Их нельзя сегодня не замечать, как не замечали в девятнадцатом веке, — телевидение не даст.

Почему эти мысли, самые эти слова современному продвинутому русскому, прочитавшему сборник «Вехи», кажутся таким чудовищным анахронизмом? Да потому, что никуда он не продвинулся, эти мысли ему неподым, он ведь не субъект морали, а ее объект — тот самый голодный и плачущий, несмотря на всю его начитанность. Солженицыну такие мысли непонятны, да что Солженицыну — Бродскому.

По этому поводу стоит вспомнить его Нобелевскую речь да и вообще многие подобные его же речи. Судить о политическом

деятели нужно не по его программе, а по списку его любимых авторов — убеждал Бродский. Понимать это нужно в том смысле, что чем изысканней его любимые авторы, тем лучше, значит, политик. Можно, конечно, вспомнить при этом, что едва ли не все персонально известные нам диктаторы были большими поклонниками высокого искусства, например Вагнера, а половина из них — сами неудавшиеся поэты. Но судить о Бродском по этой фразе — всё равно что о Гоголе по приведенной в начале. В Бродском важно другое: он наибольшее в наше время приближение к Пушкину. Как это стало возможным? В упомянутой схеме. Человеком-то был Бродский предельно — то есть беспредельно — свободным, но жил в стране рабов: идеальная модель для творчества высокой культуры. Что же он нашел на Западе, как там, во всяческой свободе, сохранил способность писать гениальные стихи? Потому, что он нашел там Рим — и не метафорический, вроде Петербурга, а настоящий, то есть мертвый, в развалинах пребывающий. Культура, представленная Бродским, — это память о культуре, библиотека, археология, обломки колонн и отрывки статуй. Он сам себя удовлетворенно сравнивал с этими реликтами. Перспективы, то есть развертки в будущее, у Бродского не было, была ретроспектива. Перспективы нет теперь и у культуры. Вопрос — есть ли она у демократии: не слишком ли она аристократична для людей из третьего мира или, скажем, из Китая (подчеркиваю — из Китая, а не в Китае)? То есть: утратив культуру, приобретут ли эти самые восставшие — попросту возросшие — массы свободу? Кстати, это и было кошмаром Бродского, писавшего в стихах и в прозе о диктаторах как о порождении больших чисел и о фаллосе как о совершеннейшем орудии убийства.

Всё сказанное не решает, однако, вопроса (если не о культуре, то) об искусстве во всяком случае. Априорно (Платону) известно и опытом неоднократно подтверждалось, что искусство неуничтожимо — вроде религии, что это одна из основных форм бытийной ориентации человека. Вопрос не об искусстве — вопрос о нас. А именно: способны ли мы увидеть в современности нечто достойное последующей консервации, памяти, введения в Пантеон? Достоин ли этого, допустим, Гребенщиков? Употребляю это имя — артиста мне совершенно неизвестного — как чистый знак, а вживе имею в виду, скажем, Мика Джаггера (которого я однажды нечаянно, а значит — впопад, сравнил с Бетховеном). Ну и давайте поставим точки над «и»: речь-то идет о рэпе. Вопрос так стоит: Пушкин или рэп?

Но вопроса этого нет — а есть ответ, и не «или», а «и» (над которым точка): да, Пушкин и рэп — Пушкин был бы сегодня рэпером. Хотя бы потому, что он был негром. Негр — скажу нечто как бы расистское — неделим, тут речь идет не о процентных соотношениях в количестве предков, а о чистой идее; идея же — любая — чиста, и ей нет дела до смешанности кровей. А негр это не кровь, это идея: мы наконец-то это поняли, — негры поняли. Мы, негры, поняли.

И тут я хочу оспорить кое-что у Ю. М. Лотмана. Он слишком привязал Пушкина к культуре — не только словесной, литературной, но культуре как норме, как Букингемскому дворцу. Лотман делает из Пушкина английского джентльмена, надевая его даже такой установкой, как мифология дома. Пушкин, мол, хотел реализовать назначение культурного человека во всех измерениях даже и бытовой культуры: отсюда дом, семья, жена и дети. Это уже о Томасе Манне напоминает, который считал, что жениться — значит соответствовать норме, а норму следует уважать. Жена — не страсть, не любовь, а долг. Несомненно, у Томаса Манна были основания прикидываться честным буржуа в эпоху повсеместного господства честных буржуа — в дофрейдову эпоху. Но зачем тянуть к этому эталону Пушкина — человека, прежде всего жившего в куда более нравственно вольные времена, сохранявшие память хотя бы о нравах Директории, когда, как известно, модные дамы отказались от нижнего белья. У Пушкина иная мотивировка была для женитьбы: не восполнение нормы (не выполнение плана, хочется сказать), а очередное маскарадное переодевание: мальчик захотел прикинуться мужем. Тот самый мальчик, которого, по словам Федора Толстого, в Третьем отделении выпороли. Интересно, что дуэлянт Пушкин так и не вызвал Толстого-Американца на дуэль за такие инсинуации: это значит, что он уже был убит, а после драки кулаками не машут.

Тем не менее в чем уж нельзя отказать Пушкину, так это в кипении крови, а Лотман именно это и делает. Там, где сработал бешеный темперамент, там Лотман усматривает защиту чести и достоинства. Они, конечно, были, честь и достоинство, — но ведь и темперамент был! Лотман повторяет обычную ошибку всякого исследователя-историка, обречен ее повторить: опровергая мнения современников, не понимавших якобы всей трагической глубины обстоятельств, подменяет живого человека, современникам вполне известного, культурной иконой, за которой обнаружены неизвестные современникам тексты. Всё это напоминает высказывание Ахматовой об одной молодой поэтессе: ее стихи пахнут хорошей кофейней, а надо, чтобы они пахли пивной. (Кстати сказать, до пивной и сама Ахматова не дотянула.)

Резюмируя, можно сказать, что Лотман не увидел в Пушкине негра. Тут сработало интеллигентское табу, столь понятное именно сейчас в той стране, в которой я живу: как бы за расиста не приняли. В Америке вышла однажды книга, исследующая антисемитские обертоны в стихах Элиота. Но стихи не бывают политически корректными, иначе это не стихи. В сущности Лотман подверг Пушкина цензуре.

Вопрос, однако, возникает о цене политической некорректности не в стихах, а в прозе — в реальной жизни. Вспомним Айрис Мердок: сегодня нельзя не замечать мира, вошедшего, через посредство телевидения, в вашу living room. И тогда наиболее актуально звучащим текстом Пушкина оказываются «Песни западных славян»: то исподнее — или отсутствие такового, —

что обнаруживается под ласточкиными фалдами Кремля, за флорентийской архитектурой и всяческим Ренессансом (Бердяев: Пушкин — единственный в России ренессансный гений). Эти отверженные гармонией звуки — вроде карканья ворон над трупами — должны выразить вездесущность поэзии. Однако тут вспоминается Набоков, сказавший, что из этнографии не сделать поэзии. Но зато из этнографии, вопреки Данилевскому, можно сделать историю. В ней есть могучая растительная сила, как в щеках Ноздрева, исторического человека, постоянно попадавшего в истории. Русские, сочувствующие сербам (или любящие «Песни западных славян»), подменяют Пушкина Ноздревым. Понятно, что поэзия должна быть не только глуповатой, но и дикой; но в обстановке конца двадцатого века, когда на место нормы пришло спонтанное самовыражение всего и вся, поэзии навязывается выбор между худосочными академическими верлибрами и кровопролитием. Последнее нравится Солженицыну, усмотревшему в югославской брутальности греческую трагедию.

Выход для поэзии, однако, есть: это тот же рэп. Ибо в нем сегодня и сохраняется штучность, хотя бы как индивидуальная смерть вместо массовых убийств воспетых Пушкиным западных славян.

Объяснюсь и приведу примеры. Газета «Нью-Йорк Пост» от 17 апреля пушкинского юбилейного года, вслед за статьей об очередной драке что-то не поделивших рэпперов, дала историю вопроса с перечислением случаев насильственной смерти и членовредительства в этом художественном мире. Вот некоторые:

Олд Дерти Бастард (Старый Грязный Ублюдок, настоящее имя Рассел Джонс), наиболее шумный участник группы «Бу Танг Клан», был арестован за хранение наркотиков, несколько недель после того, как был оправдан судом по обвинению в стрельбе в полицейских. Сам рэппер остался жив после двух на него покушений; не раз подвергался аресту за угрозу убить свою гёрлфренд, за драку с вышибалами ночного клуба, ограбление и кражу в универмаге (так называемый шоп-лифтинг).

Кулио (настоящее имя Артис Лион Айви), лауреат премии Грэмми, арестовывался прошлым сентябрем в Лос-Анжелесе за езду в автомобиле против линии движения. Был однажды арестован в Германии за нападение на продавщицу в бутик-шоп.

Тупак Шакур: убит в сентябре 96 года в Лас Вегасе. Находился в это время в режиме условного приговора по обвинению в сексуальном нападении на женщину, во время судебного расследования которого был ранен пятью пулями.

Позорник Биг (Кристофер Уоллес), главный соперник Тупака Шакура, убит в собственном автомобиле, когда покидал вечеринку в Лос-Анжелесе. До этого неоднократно сталкивался с законом.

Джесс Уошингтон, редактор журнала «Вайб», утверждает, что он дважды подвергался вооруженному нападению со стороны рэпперов, недовольных его рецензиями.

Фрики Та убит выстрелом в голову в отеле около аэропорта Кеннеди. По утверждению полиции, убийство было мстостью со

стороны соперничающей группы «Выросшие в Аду», один из членов которой был убит группой «Пропавшие Ребята», в которой участвовал Фрики Та. К этому нужно, пожалуй, добавить, что один из крупнейших продюсеров рэп-музыки — фирма под названием «Камера смертников», глава которой Мэрион Сьюдж Найт отбывает сейчас девятилетний срок.

Всё это я говорил к тому, что статистика перечисленных преступлений куда скромнее тех цифр, что фигурируют в истории вот уже семилетних балканских войн. Рэп, получается, лучше песен западных славян. А нравы рэпперов — всего лишь пушкинская дуэль с Дантесом.

Лев Усыскин

БИОГРАФИЯ ПУШКИНА

(конспект)

Алексею Пименову,
памятью о разговорах 88-90 гг.

Помнилось потом смутно — детство у Елоховской, двухэтажная тишь...

В тиши город лежал бестолково, меры не зная: татарский, забытый, будто и не город вовсе — уездные усадебки вкось да вкривь, едва ли не грибы растут — и тут же развалы всяческого мусора, рожки немые разносчиков и нищих — и над всем этим черствеют на солнце пятиглавые кренделя времен Алексея Тишайшего... скука...

Скука... столичный фельдъегерь промчит его на «пади!» — и летит себе дальше — в Крым, в Бессарабию, в Новочеркасск, город же плывет как и прежде в навозе да в глухом колокольном перезвоне: лают собачки, скрежещут о поребрик экипажи — и даже хвастает собственным университетом, словно краденым...

.....

С детства глядел — букою; отец — поручик, вертопрах, фронда; племя угасающее, жизнь расточать гораздое по гостиным да по домам веселым... суета...

В царствование Павла Петровича эдакое брюзжание мышинное — отблеском предыдущего правления; в собственном же дому — гам и конфуз... слуги непутевы... скандалом переваливая с тенора на фальцет дни тянутся...

...Стоит, однако, сюда же присовокупить знакомства галантные — уже через дядю — стихотворца, коему и Париж рукоплексал, — чьим предпочтением сердечным сам Карамзин Николай Михайлович рад бывал воспользоваться...

.....

С детства учили — как-нибудь, без пряников, без зуботычин... В отцовской библиотеке пропадали забытые всеми — в лукавстве упражняясь, исполненные лукавой антиквы страницы пе-

релистывал... вольности чувств внимая, вбирая французской речи колкий мед...

.....

В те годы — Сперанского витийство; удачливый попovich Росией ворочал, рукава засуча: как прежде, как при Петре-Колоссе. Среди иных веяний — лицей; заведение незаурядное, государевым попечением призванное лучших фамилий неокрепших недорослей от барской косности ограждать, просвещением наук ум верткий и горячий устремлять державного служения во имя...

Весною же года тысяча восемьсот одиннадцатого столичная кутерьма и до Москвы докатилась: усадебные старожилы, обветшалые завсегдагаи застолий рыпнулись было в Петербург, думая услужить — да с тем и были отбриты, почти без изъятий... однако, горевали недолго, рассудком пораскинув, обратились к юношеству, обратясь же, решились искать протекции, и сыскав — определили на пансион — равно куда — хоть бы и в тот же лицей!..

.....

Прочь от пенатов родительских!.. Ментором вышел — Василий Львович, дядюшка; попервоначалу в Петербурге — гостиница Демута, трактир: чужое все, неродное, неизящное... само собой, при первой же оказии из стен этих вон — туда, где шум, где Мойка-река извивается в граните, где громоздятся поступью дорической особняки — будто на военных репетициях...

...В Петербурге дядюшка не жил — пел; вставал за полдень, ехал наносить визиты собратьям-стихотворцам, молодости гвардейской милым компаньонам — иные уже вес приобрели: кто при дворе, а больше — по министерствам... Заводя разговор, сперва возвышенных предметов касался: стихосложения незыблемой гармонии, после — хода дел государственных и затем уж — если беседа благоволила — просил участи племянника походатайствовать: малый кудряв да остер — толк из него будет несомненный!..

...Мытьем ли, катаньем ли — а попечительство дядюшкино увенчалось; в лицей Алексахеньку приняли: что тому виной — древность ли рода, вельмож ли другорасположение, либо собственная юнца бойкость — бог весть... а только заказан уж был ему и сюртук форменный — в дворцовом портняжном ведомстве, и, после, велено было явиться в Царское к октябрю, к началу занятий...

.....

Лицей. Келья, каша. Общество долговязых отроков-стригунов; для дел государственных вдохновляемы — вчерашние барчуки ныне студентам впору. Бог знает, как сложится затем — ту-

ман, невидимо: иным по иностранному департаменту стяжать, иным — полками водить, а кому и по кнутобойному ведомству мыкаться означено — добро ли, лихо ли — грядущее нам от века заказано: грядущее — что мышь серая — каравай жизни точит...

«Хвалите — и хвалимы будете!..» После сроднились все: персник — сосед Пущин, нескладный дылда Кюхельбекер, милый Дельвиг — первый лицейский поэт... После прощаться горестно станет: «Что дружба? Легкий пыл похмелья...» Что дружба? Какие имена на предгробовом своем одре суждено будет вспомнить — сквозь безумств пелену, сквозь хрип — и полно, так ли все было: так ли уж безмятежно было в тех садах, где вечная осень, в тех аллеях среди лип... среди тех статуй... не вообразить...

...И неким штрихом затем — события лета набегающего; под топотом, высекающим пыль, под июльскими косыми дождями тракт стонал глухой болью: шла через Царское гвардия... Тихо было: затевалась и смолкала затем бесконечная и бесстрашная солдатская песня — к судьбе слепая, до судьбы неохочая — взблескивали штыки, равнодушно ступали кони: «Француз, вишь, шалит... бунтоваться задумал, стало быть... окорачивать идем, известное дело...»

...И иной эпизод — будто рояли клавишей перебор: подоспели переводные испытания — на старший курс. Ожидаемы были гости — Разумовский-министр, воспитанников родные, а всего любопытнее — сам Державин Гаврила Романович экзаменации посетить согласился...

.....

Проняло старика; ныне много чтимый, да мало читаемый — и рад был бы лиру свою пииту новому уступить, да бог свидетель, некому ведь... Некому, некому, разве лишь Жуковский, тот талантлив, сие без сомнений, только... только к чину ли такой талант — что прыток, то не беда, прежде и сам бывал прыток, однако ж та прыткость на поверку выходит... неживая какая-то теперь прыткость, прыткость геометра, прыткость вальсового танцора... впрочем, как и само нынешнее царствование — хитроумство сплошное, на хитроумстве хитроумство!..

Пушкину же увиделось: мундир сенаторский грудой, из груди старик дряхленький, губы отвисли — частью дремал, частью разглядывал — да не воспитанников разглядывал, нет — иных лиц, из состава экзаменуемых — тщился сверстников определить, не иначе... не приведи Господь — себя пережить...

И лишь когда читал Александр — оживился: глазки сверкнули, весь вперед подался — аж стул закрипел... Присутствующие все к нему оборотились недоуменно — да Александра уж в зале и не было... бежал... забился... плакал...

.....

...Говорила Евдоксия Голицына страстному юноше: галерником станешь! Говорила, кудри черные, жесткие оглаживая... Патокой змеилась ночь: вычурная, вечная — то жаром обдаст, то дрожью — иной раз — дерзко-велеречивая, иной раз — дерзко-уклончивая...

В Петербурге жизнь — сказочка, будто скрипка, будто шампанских тяжелых бутылок дружелюбная канонада — неделями музу свою не утруждал: некогда было... Какое: в оперу наведывался ежевечерне, очами жадными актрис пожирал — и там же, походя, одноглазого Гнедича обставил — дабы утерся кропотливый Гомеров ценитель...

...И прежде небезгрешен — нынче тем стал известен, что до блядей больно охоч: не раз, Венерой сраженный, к Меркурию был принуждаем... бывало, поутру в зеркало гляючи на рожу опухлую, темную: «...так вот кому, стало быть, петь и парить... мерзко...»

И другая страсть — эпиграмки... уж и откуда исток — бог судя: ...бывало — слушок, бывало — за ужином от друзей-гусаров анекдотец: «...встречаются пристав Литейной части с приставом Садовой...» И следом устрицы, лимоном пахнущие, и вино, и вина — много...

.....

...На том, видать, и погорел: кабы знать, что все вокруг собираемо... собираемо, нумеруемо и помещаемо в шкаф — дальше уже как водится: когда пылится, а когда вдруг обретает безжалостный ход...

...В мае года двадцатого выслан был из столицы — переводом в распоряжение главного попечителя колонистов Южного Края... В глушь, в Екатеринослав. Выслан — оно и вправду, быть может, к пользе: столица пообрыдла — все сущее сквозит отвращением. Все тяготит: и пища, и красавиц дурные улыбки — лишь дорогой спасение. Дорогой, дорогой — когда небо просто-квашею, когда зарябят в глазах полосаты версты... холодный воздух... мчатся быстро...

...И новое пришло: держава. В пути захворал — сказалось нервное...

Лечили сосны: вековые, неподвижные, — и мало-помалу, извелась собой блажь — уже и обида не тяготит, и с пылью, с воздухом хвойным, едким ноздри свыклись — только ехать... дальше... неважно куда... прочь...

.....

Тракты российские: в Великих Луках гостиница — пьянь, хрипуны... Плесенью поросший помещик да прапорщик безнадежный; в номерах кровати, продавленные ерзающими боками бесчисленных коллежских секретарей — и, в дополнение, весьма клопами обжитые... Случись иностранцу — стошнит, не иначе...

Путь к югу лежал — Невель, Витебск, далее Могилев, Гомель и затем уже Чернигов, здесь начались края Малоросские — открывались повсеместно беззаботностью гарнизонных офицеров, сплевывающих черешневой косточкой, смуглыми, даром, что ранний месяц, чертами девиц местных, всеобщей насмешливостью какой-то — самый воздух здесь был насмешлив, и того и гляди, родит особого рода насмешливого гения... После в Каменке у Раевских гостил — и там то же: небом звездообильным наслаждался, барышень простота обхождения — слышно как в жилах струится кровь дорогим вином сладким...

.....

Екатеринославский начальник новый — не томил. Инзов, душечка, князя Трубецкого, Никиты Юрьевича, незаконный сын, гостем встречал, службой обременять и не мысля, о прибывшем лестный отзыв тут же в столицу препроводил, а вскоре и вовсе рукой махнул: молодо-зелено...

Молодо-зелено: глазом моргнуть — уж и след его простыл. Милым семейством обласкан, вместе с ними — в путь; из грязной хаты, где в лихорадке страдал, — снова на юг, к Кавказу, в рессорной коляске барышень Раевских забавляя, старому генералу почтительный слушатель, молодому ротмистру верный компаньон...

.....

...Сперва Кавказа в очи глотнул: сереброликий край; справностью казачков наслаждался, черкесов косматыми шапками — и, конечно, горы, горы, что Ноя мудрого помнят, что вздымаются отсюда богоступной дорогой туда — к Арарату и дальше, к самой Святой Земле... В Минеральных Водах почти два месяца проторчал — сеансы; едва пришло выздоровление — вновь в путь, сначала в Тамань — городишко гнусный, оттуда через пролив в Керчь — и явился летний Крым сонным яблоком, сперва развалинами Митридатова городища, где копошился присланный из столицы французик, после — морем в Юрзуф, мимо берегов зелено-черных, мимо яичной скорлупы татарских деревень... Из Юрзуфа верхами через Ай-Данильский лес до Никитского сада — и затем спустились в Ялту; на следующий же день — вновь в горы, заночевали в татарском дворе... в неделю объехали все крымские древности — и те, в которых некогда обитали блудливые античные боги, и те, в которых византийские диссиденты прятались гонений — и в самом сердце Крыма ханскую столицу, Бахчисарай с ее забытым дворцом... Неделю провели при Симферопольском губернаторе — и здесь приспела разлука: вынужден был с Раевскими проститься и отбыть в Кишинев — к новому месту службы...

.....

Не городишко — каламбур. От Одессы — сто шестьдесят одна верста; повсюду битком молдавских бояр, надменных и диких,

какие-то мятежные сыны балканских народов всех мастей — с щемящей тоской глядящие куда-то туда, за Прут... Но больше всего военных: полк Охотский, полк Камчатский — без малого, вся наша география, в городе штаб Шестнадцатой Пехотной дивизии генерал-майора М. Ф. Орлова, да, еще к тому, — господа из Генерального штаба, прибывшие на топографическую съемку... Некоторое подобие бивуачного котла — другой раз, спустя много лет, вдруг узнает по духу знакомое — тогда уже, однако, багрянцем войны взаправдашней озарен — в Эривани, при армии Паскевича.

Бедовалось незатейливо: среди бездомных да подневольных — начальства баловень и застоля шут: всегда к услугам и чей-то кров и чей-то хлеб, всегда к удовольствию — чью-нибудь глупость смазать словом хлестким по холеной скуле: нужда будет — недалеко и пистолеты...

То и дело отлучался: то в Каменку, то в Киев; раз слух пошел, — в Москву сбежал... только пустое: далась та Москва! Здесь, вблизи, веселее — в те годы меж офицеров Южной армии такое завязывалось... Не приведи Бог: тут и царская дороженька, и царский дом, и царские ласки — кнут да каторга... По всему, быть Пушкину доносом оглашенным — да, по счастью, не успел: следствием реорганизации управления краем направлен был в Одессу: прощай, бедовый Кишинев, не поминай лихом...

В Кишиневе дворяне — бояре, в Одессе бояре — жида; торжище повсеместное — мой Бог! Градоначальники хлебными контрактами не гнушаются, с тем и льется пшеница золотой рекой за море, а взамен — субстанции изысканные — все же, город: и ресторации есть, и опера, и лицей свой собственный... и общество, принужденное держаться приличий (кишиневскому в пику).

По приезде, тут же обзавелся привычками: остановился на Итальянской, в Hotel du Nord, обедать завел обыкновение там же, либо у Отона, либо в греческой ресторации Дмитраки — кофе же пить ходил всегда в кофейную Пфейфера на Дерibasовской.

Возобновил обычай идолопоклонства театрального — итальянцы заезжие Россини давали ежевечерне: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Золушка»... Посредственность труппы скрадывал воздух томный, морской — чем не Италия...

...а помимо этого — казино не пренебрегал, чистая напасть: гонорары ли из столиц, прежде на Руси неслыханные, жалование ли по чину (700 руб. ассигнациями в год), шальные ли поступления из вотчин нижегородских либо псковских — все сметала лихограда игры; случалась, с извозчиком расплачивался криком — тот в ужасе улепетывал, крестясь: «Экой барин характерный, черт...»

Впрочем, и по-иному судьбу пытал: раз, лунной ночью в обществе грека-предсказателя выехал на волах в поле — холодным светом глаза жгло; истомясь, продрог: без малого — час шипел грек древние боспорские заклинания и все же родил: «Быть тебе сударь мертвым от лошади... от лошади, либо от человека бело-волосого... не иначе, сударь...»

И вернулись в город.

.....

...И пуще всего, поверх чувств иных было — недоумение: мелочь, баловень, молокосос никчемный — и так ни ставить ни во что... лишь зубы скалить чертом... Таковы нынешние — и не один Пушкин — к несчастью знак сей взащед изрядно...

И где бы — ведь здесь!.. где грамотного чиновника днем с огнем... где не с кого спросить и поручить некому... взамен же удаль одна — добро бы на войне удаль, а то удаль канцелярская... «саранча летела, летела... села... поела... опять полетела...» Граф аж вспотел от волнения: «О просвещении пекутся — понимают же под оным лишь щеточки для ногтей да развязность... устои для них — не устои, не больше чем прах: семья, владительство, государство... Зане бредят Британией и в том преуспели — Байрона декламируют и мыслят тем Британию исчерпать... и об ином невдомек...»

...и снова Пушкина вспомнил: «...все же, коллежский секретарь из непригоднейших... даром, что Инзова протеже... дерзок... за женой волочется, дурень... стоило б, по-хорошему, Нессельроде донести, да мараться не пристало б — хотя бы и добро — прочувить шута... впрочем, незачем спешить... повременим... не ровен час — сам оступится... повременим, повременим...»

И зашагал по кабинету, насвистывая...

.....

Голосишком тоненьким, комариным — эдакая пьеска... эдакая, в духе рокальным, канцелярская поэмка — не более того... Сквозь шелест бумажный, сквозь фельдьегерьскую гоньбу вырисовывается... да вы сами знаете, что, собственно, вырисовывается — тому утешением лишь сказочка, после за мадерой сказанная, да партия в винт — и непредрассудительно уже тогда оборотиться и к анналам...

Тому началом — известная Воронцовская реляция, от марта, шестого числа — и не реляция вовсе, так: частным порядком рассуждения благонамеренные: «...нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно...»

Чем не отец — однако же недели через три иному уже адресату: «...и я прошу Ваше Сиятельство испросить распоряжение Государя по делу Пушкина».

После, апреля, восьмого — опять-таки частное послание: «...и я буду очень рад не иметь его в Одессе».

И по новой — двадцать девятого...

И в мае — второго, едва не плача, по команде, затем четвертого, другу весьма влиятельному...

И, наконец, шестнадцатого — ответ: «...и я представил Императору Ваше письмо о Пушкине...» И — молчок.

Июня, числа девятого или около того уходит в Петербург прошение коллежского секретаря Пушкина об отставке «по слабости здоровья» совокупно с комментарием Воронцова, растерянности и недоумения полным... И в ответ — ни гу-гу...

И лишь двадцать седьмого — что-то определенное: «Государь решил и дело Пушкина: он не останется при вас...»

И закрутилось: была затребована справочка официальная, о материальном положении и источниках дохода семейства Пушкиных; затребована, подшита и изучена — и следом, июля, шестого — высочайшая резолюция о высылке, и через пару дней уже — венцом — «повеление находящегося в ведомстве Государственной Коллегии Иностранных Дел коллежского секретаря Пушкина уволить от службы вовсе...»

Дальше — гуще: одиннадцатого — повеление о переводе на жительство во Псковскую губернию, в ответ — отношение Нессельроде в Ригу к маркизу Паулуччи; на него — предписание Паулуччи Псковскому губернатору Адеркасу, и, в те же дни, распоряжение Воронцова одесскому градоначальнику Гурьеву, тому же Адеркасу, посланное копией во Псков. Двадцать девятого у Пушкина отбирается подписка «...без замедления отправиться... нигде на пути не останавливаясь...», выдается жалование и прогонные. Первого утром он — в пути.

Но тем не кончилось: от двенадцатого — донесение Воронцова Нессельроде в Петербург; через неделю Пушкина вызывают в Псков к губернатору, дабы отобрать очередную подписку о благонадежности; затем двухнедельное затишье и вновь эпистолярный экстаз: рапорт Адеркаса Паулуччи об отказе Рокотова шпионить за Пушкиным и о назначении шпионом отца поэта, статского советника С. А. Пушкина — на это, в свою очередь, благожелательное уведомление Паулуччи псковского губернатора и, копией, опочецкого уездного предводителя дворянства А. Н. Пещурова.

И с этим — все, не считая, впрочем, рутинного урегулирования финансовых издержек, выпавших благодаря означенным мероприятиям на долю Коллегии Иностранных Дел Российской Империи...

.....

Как жил? Как придется: по приезду помещенный в детскую старого дома Ганнибалов, он так и остался в ней на зиму — дверью напротив обитала старушка — няня; иные же помещения — и бильярдная, и господские комнаты, не слишком, впро-

чем, вместительные, в которых до отбытия своего в Петербург теснилось все bestолковое его семейство, — стояли холодными и как бы опечатанными — да в них и нужды не было.

Итак, с поздней осени был один — впервые. Хандрил в ознобе сперва — одесскими буйными ночами бредил — затем улеглось.

Читал. Благо, заказанное доходило исправно. Пометки делал. В первые еще дни, вдруг чему-то необъяснимому вторя, бросился записывать за бабами песни — да так, мало-помалу, и за полсотни перевалил... свадебные и другие. «Авдотья Вдовина», «Уродилась я несчастлив, бесталанлив...»

...Пугал дворовых пистолетной пальбой. Случалось, за утро до сотни зарядов освобождал — нравилась руки бесовская сила, мишени упругость злая да дыма серый дух — бесовский опять же...

По первому снегу жизнь ужималась до просвета в оконце — становилось тихо, кружась оседала на наст невесомая хвойная шелуха: иголки, чешуйки, кусочки коры — и бывало парным следом открывал себя поутру заяц... Редкие прогулки делал в пустые леса, на замершую речку, где резвились до пара и расквашенных носов деревенские ребятишки, старался до темноты вернуться домой — к чаю горячему, к нянькиным сказкам...

...Прочие же месяцы проводил подобно герою своему: часами катал два костяных шара по зеленому бархату, а нет — подводили ему лошадку, и уезжал — до самого ужина. Возвращался рысью, а то — поводя отпускал, давая жеребцу самому домой брести, папоротники пышные подминая. Осенью любил глядеть подолгу на воды черную гладь, чешуйками золотыми крапленую, подобно шкуре застывшего дракона из старой книги — охотничьими забавами же, напротив того, манкировал — к сей популярной в отечестве нашем страстишке вполне равнодушен, старался к тому же с соседями-сумасбродами поменьше знаться, да те и не досаждали: надзор, опала...

Все же, исключения были — и какие! Тому в трех верстах от Михайловского — левым берегом Сороти к западу — старинное имение Тригорское, некогда пожалованное лихой императрицей в свой коронный год верному Шлиссельбургскому коменданту — ныне владение шумных помещиц: Прасковьи Александровны, приходившейся тому коменданту внучкой, ее дочерей от первого брака, Анны и Евпраксии, падчерицы Александры, а также двух племянниц — Анны Вульф и красавицы Анны Керн, выданной некогда замуж за дивизионного командира Ермолая Керна, старого и мерзкого шута, стоявшего со своими войсками где-то под Могилевом. А еще каникулами гостил дерптский философ Алеша Вульф, приятель поэта Языкова, донжуан и винопийца...

То ли еще ссыльному романтику: усадебная идиллия: барышни непритязательны и, все же, весьма милы — в пору влюбляться в каждую попеременно, а то — хоть и сразу во всех. Так ведь и было — при том иных держал лишь за сосуд, пустому вину иг-

ривых шуток предназначенный, иные же бросали в жар — года пройдут, уляжется многое, за матовым стеклом усталости оседет прежде мимолетное серым свинцом мелочных обид да показательной эпистолярной неучтивостью...

.....

Никола Мирликийский... Miracle-maker... путника приютит: пещеру приголубь, конного убереги — от человека недоброго, от мора, от травы, что клонит в сон, от зависти ближних, от досужих сплетен сохрани и спаси...

Звоном колокола немые... Колоколам нескромным языки — долой: дел человеческих суеты в белом камне след — келий сырые темницы да монастырских преданий кислое вино... Отведи удар, угодник — дай сил прожить-миновать: чары когтистые гиблого места, городища Вороница...

По спинам ив горбатых доходит ветром запах чужой, невнятный — старинной границы близость, за ней — земля без шири, да с высью, божницы иглами, а поверх игл тех — петушки немецкие, кованые... забавная земля, ухоженная, торговлей раздобревшая — сгинуть в ней бесследно, затаиться, пропасть — ласкова земля к беглецам — и самому забыть все: отца родного, косые дожди, польнь ломкую, сухую, да квылы бесконечные, текущие — неведомо-куда, до горизонта...

...с конца второй осени уже тлело чувство — не за горами отъезд; будто бес какой подзуживал: отлучись. Отлучись, краев здешних постылых запахов забудь хоть на неделю, окунься в столичных шелков шелест — и после уж назад... Да едва не вышло: уже по получении известия о смерти Государя — думая на авось да на суматоху, династическими колебаниями произведенную, приказал было повозку готовить — и сам в Тригорское. И на беду по пути через дорогу — заяц. С соседями простясь, назад — и снова заяц путь пересек; дома же — все к одному: слуга, назначенный ехать, выясняется, в горячке; назначил другого, наконец трогаются — стоп, в воротах священник — принесло с барином проститься... Плюнул тогда, пнул повозку — и велел распрягать...

...И после понял — к добру: не одумайся тогда — аккурат поспел был в Петербург тринадцатого декабря под вечер, и того мало — к Рылееву на квартиру, благо тот жил одиноко, неслышно... И с тем бы и погиб — в восторге упоенья, а чем — бог весть; так, несколько месяцев отступя, раз, дав перу вольную, вдруг отпрянул: с листа глянули висельники — ужасом, смрадом, и тогда — не смея перо покарать, рукою дрожащей начертал в отвращении: «И я бы мог, как шут на...» И переломилось тут перо.

.....

Бабушкин дворец карминовый — давил. Вычурный, живой, почти китайский — громоздился в этом тусклом городе, захотевшем иметь его своим царем... Вдохнови, Господи, совладать: несть конца унылой державе, опухшей от безначалия, природно склонной к произволу, закона знать не желающей... Несть числа ее подданным, чьи помыслы лишь от «авось...» до «милостью не обойди...», чье понимание права сродни бунту, а бунта сродни конфирмации... Научи, Господи, жить как: ведь не готовился править; всю жизнь в полках, солдатского котла не гнушался, службу знал до лямки — так ведь не дипломат, не уклончив, подобно братцу Константину, юлить не приучен... На немцев одна надежда — те бедны и безродны, служить готовы искренне: дворян же местных распустил братец покойный, добром будь помянут, распустил... Ни одарить, ни наказать: за четырнадцатое декабря чего стоило расплатиться — еще дым не рассеялся — уже является какой-нибудь князь Василий либо граф Сергей Александрович: «...пощадите оступившихся, Ваше Величество, явите великодушные... ведь наши же дети... нелепо их на плаху, аки Оренбургского Самозванца...»

Нелепо... Наши дети... Вразуми, Господи, как быть с ними: одних только душ солдатских загублено сколько... То братца Александра пример да бабкин почин — проклятая держава: что ни воцарение, то кровь; кровью начнется либо кровью закончится...

...За что ж жребий этот — входить во все: в журналов публикации, в мундиров покрой, в кавказских междуусобиц трясину... добродетель времен Петра Великого, да ведь век уже прошел! век целый!

...Одно ясно: чувственность надобно искоренить, взамен — правила, устав; аккуратных людей повсюду... уравновешенных... без рвения излишнего...

Чувственность Александр пестовал — все норовил монстрами себя окружать: то Сперанский этот, то отцовский Аракчеев — орудийный лафет или растяпа Милорадович... То вознесет кого по ерунде, то в Сибирь за пустяк... Самодержавие деспотизмом дискредитировать... негоже нынче... негоже... Взгляд его скользнул по гладкой щеке камер-лакея, подался вперед и тут же запутался в гардинах: в окна сочился бледный, чахоточный свет, приносил с Невы какие-то звуки, резкие и ритмичные: велись работы, укрепляли набережную.

.....

...Когда же и в самом деле пришло — не узнал; сентября, третьего числа, к обеду ушел в Тригорское — день догорел, как подобает: в меру ясный, в меру печальный — той ранней осенью, когда все вокруг будто еще в соку — и все-таки витает в воздухе уже аромат отцветания и распада. И тем ароматом по-особому как-то весело на душе и пьяно...

В одиннадцатом часу провожаем был барышнями по дороге на Михайловское — оставшись один, думал о мимолетном, — и всего яснее проступала тоска некая, нездешняя, незнаемая — то-

ска европейских странствий, до сих пор не испытанная — и тут уж грезилось испанских дворцов причудливой архитектурой и нравов дерзкой отточенностью, подобной клинку рапирьему... С эдакими вот мыслями и ступил было в свои владения — и тут же на тебе, гостинчик: прибыло из Пскова лицо официальное — весьма немалыми эполетами обремененный Адеркаса нарочный: письмо губернаторово хоть и учтливое, да все же сухое — ни щелочки, ни царапинки... Одно лишь ясно — в Москву затребован, пусть не в колеснице — так ведь и не в кандалах: «По прибытии же... имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного Штаба Его Величества».

Тут началось: плачи, беги; Аринушка — в крик... Велел посылать в Тригорское за пистолетами — какая же дорога нынче без пистолетов! Сам же, тем временем, иной порох жег — тетрадь черную, автобиографическую. Да, колебнувшись на миг, черновики Годунова... Затем рассовал по карманам деньги, накинул шинель и около пяти, наконец, тронулись. Рассвело. Был туман.

.....

Москва немотствовала; над городом, Петром отвергнутым, острее солнце неторопясь восходило, скользнув прощально по золоту куполов, будто возле самовара дородная купчиха, подобрал подол — садилось вновь. Торжествами коронации затихли прошлогодние страхи — благородные, как это и прежде водилось, углубились в досужее изучение вакансий, прочие же смотрели на благородных, морщили лбы и чесали затылки: того ли еще...

И как и прежде — страннопримный дом; и как и прежде — бредут слепцы Калужской дорогой...

...По прибытии, восьмого, препровожден был в Кремль — мелькнуло на миг на крестах стаями галок да каменными, у въезда в чью-то усадьбу, львами — и тут же отрезало кирпичом стен, некогда итальянцем сложенных: внутри уже, передаваем друг другу вежливыми адъютантами, оказался вскоре пред дубовых дверей. И тут предложено было обождать.

...Медом тянулась минута: одна, другая... Лучик солнца, пробираясь сквозь окошко, слепя, убаюкивал... И лишь когда раскрылись вдруг двери, не настежь, но наполовину, и вкрадчивый голос негромкий произнес что-то и что-то еще — лишь тут все вдруг улеглось, будто в лузу шар, будто некоей книги тисненный переплет тихо захлопнулся...

И, поправив сюртук, он шагнул вперед... И затворились за ним двери...

.....

И будто вновь звук обрел: и как! Стократ! По улицам, по пыльным московским переулочкам — славы звон, молва... коро-

нацией столица старая бесится... В театральной ложе лорнетов скольжение — архивных юношей восклицания да вечеринками дружеская теснота... фамилии новые: Веневитинов, Киреевский... молодости чужой чума гасит зрелых мыслей тоску...

Заботы незнакомые явились — журнальные; а с ними надежды, с ними беды — то озноб, то жар... а то, вдруг, сорваться — непредсказуемо — в провинцию: в Боровичи, в Пустошку; там проигратся в пух заезжому какому-нибудь пьянице-ротмистру, отведать гнусных трактирных щей с тараканами и, одолжив пару сотенных, метнуться обратно с тучею на душе — и снова дорога, снова туманы, снова шелесты в овсе...

...Помимо иных имен — Мицкевич; покоренного народа великий сын: в глубинах взгляда таятся домашнее барокко далекой родины... очага лишенный — к алтарю цивилизации принужден склониться: раз, Пушкина растрогал до слез импровизацией на тему классическую, вечную — это ли не счастье судьбы художника?

.....

...И, как водится, будто сквозь летний зной повеяло осенью ранней: и вот уже возобладали презираемая до того степенность, прежнее лукавство отгеснилось в уголки глаз нажитой усталостью: взамен пришли мысли матримониальные — так, в мае 1827, поехав в Петербург и обеда у Олениных....

Библиография

1. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина 1799—1826. Л., 1991.
2. С. Гессен, Л. Модзалевский. Разговоры Пушкина. М., 1991.
3. П. Губер. Дон-Жуанский список А. С. Пушкина. М., 1990.
4. Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982.

Роберт Браунинг

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КНИГИ «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»

Массив стихов Роберта Браунинга (1812—1889) русским читателем должным образом не обследован. Переводы немногочисленны, случайны и за редчайшими исключениями (Чуковский, Линецкая), малоудачны, оригинальный текст даже для хорошо знающего язык трансцендентно сложен. Всерьез читать Роберта Браунинга — дело действительно нешуточное. Словарь его кажется необъятным, включая в себя все — от специальных терминов, известных лишь органистам, до древнееврейских заимствований. Часто смысл речей поэта скрыт не только от читателей, чей родной язык не английский, но и от искусственных и сочувственных автору литературоведов-англичан. Возможно, что в этих случаях Браунинга все-таки понимала жена — Элизабет Баррет-Браунинг — по крайней мере так предполагал Вордсворт. Создатель, пожалуй, самых гармоничных и ясных стихотворений английской поэзии, узнав об их свадьбе, обронил: «Надеюсь, что эти молодые люди добьются того, что станут понятными друг другу, ведь ни один из них никогда не будет понят кем-нибудь еще».

О невязности многих текстов Браунинга сложены легенды, вот одна из них, связанная с поэмой «Сорделло»:

«NN, выздоравливая после тяжелой болезни, получил разрешение врачей немного читать в течение дня. Он взял первую попавшуюся книгу, из лежащих рядом с постелью. Ею оказалась только что вышедшая книга Браунинга. Не успев прочесть и страницы, больной смертельно побледнел, выронил книгу из рук и проговорил: „Боже мой! Я стал идиотом. Мое здоровье восстанавливается, но я навсегда лишился разума. Я не в состоянии уловить смысл двух последовательных строк английского стихотворения!“ Несчастный созвал всех своих домашних и, дав им раскрытую книгу Браунинга, спросил, каково их мнение об этих стихах; увидев, как выражение замешательства все более и более проступало на лицах читающих, больной испустил вздох облегчения и тут же уснул».

Нынешнему читателю рассказанная история, конечно, покажется наивной, «непонятная» поэзия ему сейчас куда привычнее «понятной», но когда-то все это звучало убийственно. Впрочем, затронутая тема обсуждалась еще в альманахе «Северные цветы» на 1828 год: «...один из наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется...» (и далее о двух родах бессмыслицы). Бессмыслицы Браунинга почти всегда — бессмыслицы второго рода.

Что касается словаря Браунинга, то его обширность есть прямое следствие обширности интересов поэта, простирающихся от Древних языков и истории до живописи и музыки. Эка невидаль! — опять скажет читатель — сейчас у любого в стихах то «Шуберт Франц, то

Вермеер... Пожалуй, в ответ лучше всего привести следующую цитату из Г.-К. Честертонa (G. Keith Chesterton. «Robert Browning», NY, 1902, p. 84):

«Очень многие образованные люди могут говорить о живописи с художниками; но Браунинг не просто мог говорить о картинах — он знал толк в их покупке. Сам он мог знать о живописи не больше, чем знает о ней пятиразрядный художник, а об органной игре не больше, чем шестьюразрядный органист. Но после того, как все уже сказано, еще остаются некоторые вещи, о которых знает даже пятиразрядный художник, но неизвестные и тончайшему ценителю живописи, вещи, понятные шестьюразрядному органисту, но недоступные и лучшему музыкальному критику. И все эти вещи Браунинг знал.

Иначе говоря, он был тем, кого принято называть любителем. Слово любитель вследствие странностей языка приобрело оттенок некоей тепловатости, в то время как оно должно обозначать страсть. И это связано не просто с формой самого слова; действительная характеристика многих безвестных дилетантов — подлинный огонь, горящий в них. Человек по-настоящему любит какое-то дело, если он занимается им не только без всяких надежд на то, что оно принесет ему славу или деньги, но даже и без надежды сделать его хорошо. Подобный человек любит процесс работы сильнее, чем иной любит вознаграждение за нее. Браунинг был именно таким любителем».

Отсюда, в частности, все эти «септимы», «квинты», «задержанья и разрешения» в «Токкате Галуппи». Браунинг знал то, о чем писал. Любопытно, что в одном из русских переводов «Токкаты Галуппи» слово «seventh» трактуется, как «седьмая» — очевидно, по аналогии с некстати вспомнившимися переводчику восьмыми и шестнадцатыми. Честертонov любитель никогда бы не сделал такой ошибки.

Включить в «клавиатуру упоминаний» полузабытого¹ композитора может любой претенциозный болван. Рецепт слишком известен и описан, например, Достоевским: «Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа en tout lettres, но никому неизвестна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре»... (и далее по тексту кармазиновского «Merci»). Выбрать именно Бальдассаре Галуппи собеседником в разговоре о смерти мог лишь Браунинг. Конечно, необычайная сила стихотворения оправдала бы любой, даже самый случайный выбор. Но выбор не был случайным. Музыкант-любитель действительно услышал в музыке венецианца ноты, вызывающие то, что называют холодом в спине. Вот доказательство, что эти ноты в музыке Галуппи есть и что посвященные знают о них. Пожалуй, все музыканты согласятся, что равелевский цикл «Ночной Гаспар» и финал сонаты Шопена (с траурным маршем) — в списке «мрачнейших из мрачнейших» стоят первыми. 27 декабря 1958 года, в день похорон своего отца, потрясенный его смертью Артуро Бенедетти Микеланджели все же не отменяет вечерний концерт. На нем он играет «Ночного Гаспара», сонату Шопена и пьесы Галуппи.

¹ Говоря о Галуппи, руководителе капеллы собора Святого Марка, авторе более сотни опер и многих десятков клавирных сонат, нельзя не сказать о том, что он был три года придворным капельмейстером в Петербурге. В России Галуппи ставил свои оперы и даже писал православную церковную музыку. Среди его русских учеников был Бортиянский.

Впрочем, дело может быть не в одном только Галуппи. Кто бы ни писал о Венеции, Томас Манн или Генри Джеймс¹, Тютчев или Ходасевич, напоминание *memento mori* возникает с математической неизбежностью. Эта устойчивая связь заслуживает изучения. Отметим еще, что тютчевское стихотворение «Дож Венеции свободной» написано практически одновременно с «Токкатой Галуппи». Тематическое и метрическое сходство этих двух стихотворений просто поразительно, и переводчик не устоял перед соблазном слегка им воспользоваться.

Возвращаясь к теме браунинговских «бессмыслиц», отметим, что строфы IV и V стихотворения «У Огня» — пожалуй, самая знаменитая из них.

Несмотря на то, что самый общий смысл этого места более или менее ясен (и в варианте «ad libitum» передан переводчиком), конкретное его содержание скрыто непроницаемой завесой. Но, разумеется, стихотворение было выбрано для перевода вовсе не из-за этих стрóf. Скажем здесь несколько слов и об остальных.

Далеко не все они равноценны. Не исключено, что читатель соскучится, не добравшись и до середины этого длинного стихотворения (скорее, даже поэмы). Но в оригинале растянутость композиции и обилие маловразумительных стихов сполна искупаются местами, исполненными высшей поэзии. К ним в первую очередь относятся великолепная экспозиция, описания горной природы и тончайше нюансированная сцена любовного объяснения.

Любопытная история связана с десятой строфой («On our other side is the straight-up rock...»). Набоков в книге воспоминаний «Speak, Memoгу» говорит, что любит ее больше всех других (очень немногочисленных) английских стихов, содержащих «чешуекрылые» (lepidopterological) образы. Рядом он упоминает фетовскую «Бабочку» и буниинское стихотворение «Настанет день — исчезну я...». Вероятно, никто не знает, что эта строфа была использована Набоковым в качестве основы для одного эпизода романа «Pale fire» («Бледный огонь»). (Король бежит из Земблы, уходя через горный перевал. Тропинка, петляя между валунов, прижимается к отвесной скале. С противоположной стороны на осыпь садится бабочка.) Увы, та же строфа была использована в совершенно антинабоковском (и, само собой разумеется, антибраунинговском) духе в ученом труде одной австралийской питекантропши. Литературовед Пенелопа Гей (Университет Сиднея) всерьез полагает, что «природа в стихах Браунинга в высшей степени сексуальна», приводя в пример альпийские пики, пронзающие небо в девятой строфе «У Огня», и листья папоротника, бьющиеся о гранит, в десятой (Journ. of Literary Criticism & Linguistics, № 71 (1989), p. 48).

Русскому читателю «By the Fire-side» не могут не прийти в голову некоторые сопоставления, например, с Тютчевым (уже упоминавшимся в связи с «Токкатой Галуппи»), чья «Итальянская Villa» не-

¹ К слову — у Генри Джеймса есть рассказ, по сути дела посвященный Браунингу. Речь идет о «The Private Life», одном из первых рассказов Джеймса, в котором писатель применяет свой «фирменный» прием двух возможных трактовок событий (рациональной и иррациональной), позже он использовал его в «Повороте винта» и в «Оуэне Вингрейве». Общепризнанно, что прототипом одного из центральных персонажей «Частной жизни» является Браунинг.

много напоминает одну из центральных сцен стихотворения, и для которого связь окружающей природы с психологическим состоянием человека была столь же очевидна, как и для Браунинга. Без малейших натяжек, в тексте «У Огня» — стихотворения, написанного в пятидесятых годах прошлого века — можно найти и любование «конкретной деталью», и «вещность» (что за чудовищное¹ слово!) и пресловутую «связь предметов и душевного мира человека», короче говоря, весь джентльменский набор, столь любезный одной из современных питерских поэтических школ. Вспоминаются и некоторые стихотворения Ходасевича, особенно те, которые группируются вокруг «Эпизода». Но все эти совпадения вряд ли имеют какую-либо рациональную основу. Повторим (невольнo копируя циклическую структуру «By the Fire-side») уже сказанное — в России Браунинг никогда не был прочитан.

От переводчика. В работе над этой и (особенно) предыдущей публикацией (стихи Хаусмана в Urbi, вып. 14) я имел возможность пользоваться высококвалифицированной помощью И. Б. Комаровой и советами Е. Г. Эткинда. Благодарю их обоих.

ТОККАТА ГАЛУППИ

I

О, Галуппи! Бальдассаре, мне невесело с тобой,
Все я слышу, не глухой я, все я вижу — не слепой,
И тебя я постигаю, но с печальной душой!

II

Вот ты здесь, про что расскажешь старой музыкой своей —
Про купцов и купол Марка, вольный город без царей,
Где кольцо топили дожи средь лазоревых зыбей?

III

Город — с морем вместо улиц ... Что за мост дугою встал?
Шейлока? Ах да, тот самый, где плескался карнавал:
И сейчас все это вижу, хоть вовек там не бывал.

IV

Море, небо, маски, игры. Молодыми май любим.
В полночь праздник начинался, в полдень не расстаться им,
Ну а завтра все сначала, но с поклонником другим.

¹ По-видимому, впервые введено в литературоведение А. Лежневым в 1926 году.

V

Там синьора — уж синьора. Грудь высокая полна —
Разместиться места хватит. И приветлива она,
Щечки круглы, губки алы. В обращении вольна.

VI

Как они любезны были. Трудно все-таки стоять,
Теребя лишь бархат маски или шпаги рукоять,
Час молчать, пока токкаты ты не кончишь исполнять.

VII

Что там? Слезы малых терций. Септима, как вздох вдвоем,
Задержанье, разрешенье — неужели мы умрем?
Все же квинта ободряет — Нет, еще мы проживем!

VIII

Был ты счастлив? — Да, пожалуй. — А сейчас? —
Я да, а ты?
Нету счета поцелуям. Прочь тревожные мечты!
Но ответа доминанта ждет у тактовой черты.

IX

Все, конец, — удар октавы! Ты и бремя славы нес —
«О, Галуппи, браво! браво!» — «В ларго не скрывала слез».
— «Умолкаю тотчас, слыша, как играет виртуоз».

X

И к забавам возвращались. А потом по одному
(Этому — уж все постыло, дел невпроворот — тому.)
Смерть их молча уводила навсегда в ночную тьму.

XI

Размышляю ли — иду я той дорогой иль не той?
Торжествую ль, выкрыв тайну у Природы в кладовой,
Все равно, тебя услышав, содрогаюсь, сам не свой!

XII

Ты сверчок, ты злобный призрак, на пожарище скрипишь,
А Венеции потратить — заработанное лишь:
Прах и пыль. Душа бессмертна, коль ее ты различишь.

XIII

Взять мою хоть. Я геолог, физиком сумел прослыть,
Математик я, забава — уравнение мне решить.
Смерти — бабочкам бояться. Я умру? — Не может быть!

XIV

Ну а те венецианцы, безрассудны, хороши
Распускались, отцветали, вызрел плод ли там, в тиши?
Поцелуи прекратились — что осталось от души?

XV

«Пыль и прах!» — опять скрипишь ты. И болит душа моя.
Эти волосы и руки, звуки, краски бытия —
Все умолкло, все истлело ... Холодно. Старею я.

У ОГНЯ

I

Где мне быть в эту осень — я твердо знаю:
Холодает. Длинней и темней вечера.
Краски блёкнут твои, о душа, звуки тают,
Многогласие немо твое. Пора!
Твой ноябрь наступает.

II

У огня отыщусь я. И, ясно без слов,
С древней книгой, где мудрость веков хранится.
Ветер хлопает ставней, звенит засов,
Я листаю, листаю страницы.
Только проза теперь. Никаких стихов!

III

За дверями я детский шепот ловлю.
«Здесь он, здесь. Углубился в Греков.
Можем мы убежать (я молчу, терплю),
Там в леске, у ручья, где полно орехов,
Мачту вырежем кораблю!»

IV

О, конечно, вы правы, мои друзья,
Я читаю, затерян в таинственном мире.

В лабиринте сознания странствую я,
Ответвленья то уже, то шире,
Где дорога моя?

V

Как в орешнике тесно в грядущем. Стою.
Не пробраться. Где больше простора?
Кто-то манит меня. Я тебя узнаю.
Мы идем очень быстро. И скоро
Попадаем в Италию, юность свою.

VI

Я держу твою руку. Знакома она,
Ей послушен, куда ни влекла бы!
О, Италия! Девушка ты, никому не жена,
Пусть толпятся соседи — надежды их слабы.
В их груди ты огнем зажжена!

VII

Мы руины часовни проходим опять,
Выше путь нас ведет по ущелью.
Погляди, деревушка? Никак не понять.
Или мельница кем-то поставлена с целью
Лишь тоску средь безлюдья унять?

VIII

Вот еще поворот — и мы в центре вещей.
Обступил нас обоих темнеющий бор.
О, как вьется, блестит меж камней и корней
Эта струйка воды! Вниз обрушившись с гор,
Превратился поток в ручей!

IX

Вон внизу озерко. Не его ль он питает?
Видишь белое пятнышко рядом? То Пелла.
А вечерние Альпы над нами сияют,
Погляди-ка наверх, как вершины их смело,
Пики выставив, небо встречают!

X

Под отвесной скалою тропинка бежит,
И к скале ее цепь валунов прижимает.
Видишь гладкий валун, что отдельно стоит?
Как лишайник цвета мотылька повторяет!
Саблей папоротник бьет гранит.

XI

Сколько смысла и чувства в раскраске ковра
Этих горных цветов. Все каштаны упали
И соплодиями по три колючих шара
На тропинке лежат. И орехам в начале
Ноября уже падать пора.

XII

Вон по золоту наискось, слева направо
Перечеркнут листок, словно герб или щит,
Полосою, алеющей ярко-красно.
На иголочках мха он тихонько лежит
(Виден издали, красный на ржавом),

XIII

Близ грибов, что вчера под вечернею мглой
Тайно выросли тут. Нет, с утра, спозаранок
Плоть набухла их мякотью. Глянь, бахромой
И чешуйками ножки укрыв, сто поганок
Круг волшебный раскинули свой!

XIV

Вот часовня — почти у подножья хребта,
Что берет поворот здесь к далеким вершинам.
Рядом пруд. Под единственной аркой моста
Застоялась вода. Видишь, танцем над тиной
Комариная тьма занята.

XV

И часовня и мост из похожих камней
Темно-серой породы, тяжелых и влажных.
Вот стена. В неширокой канаве под ней
Отмокает пенька. Посмотри, как отважно
Плющ ползет среди узких щелей!

XVI

Это бедное место. Священник приходит
Только к праздничным службам, и то не всегда.
Ровно дюжина жителей будет в приходе —
Все из редких окрестных домов. И сюда
Их двенадцать тропинок приводят:

XVII

Та — идет от сарая для сушки пеньки,
Поднялась эта снизу от кузницы старой,

Та — спустилась со скал, где раскинул силки
Птицелов. Та — пришла от далеких амбаров,
Где орехи хранят лесники.

XVIII

Притязает на что-то лишь старый фасад —
Частью фрески, подобной луне на ущербе.
И, как принято было столетия назад,
То Креститель в пустыне. Бедняга, он терпит
Здесь и холод, и дождик, и град.

XIX

Козырек наверху, как положено, есть.
Не виновен строитель в страданиях Предтечи.
Где резной барельеф, можно цифры прочесть,
Архитектором год завершения отмечен:
Предпоследняя — вроде бы — шесть!

XX

И весь день напролет сладкозвучное что-то
Тихо птица поет... Заблудившись случайно,
Пьет овца из пруда. Мир охвачен дремотой.
Были, верно, и здесь преступления и тайны —
Только это не наша забота.

XXI

О, отрада моя! Ты — моя Леонора.
Это сердце — мое, эти очи — мои.
С кем еще я отважусь зайти в эти горы —
Людам страшно вернуться в ушедшие дни,
И седеют они слишком скоро!

XXII

Та тропинка ведет на утес. И на нем
Встанет юность, достигнув своей высоты.
Снизу старость грозит. Но нам все нипочем!
Все не страшно, пока, не заметив черты,
В пустоту мы с тобой не шагнем!

XXIII

Юность там, позади... Ты сидишь у огня.
Как? Смотреть мне не нужно. Конечно, я знаю:
Верно, книгу читаешь, молчанье храня.
Лоб высокий подперла рукой. И, читая,
Видишь то же, что вижу и я.

XXIV

Я задумаюсь. Мысли мои прочитав,
Отвечаешь им, рифмы быстрее и точней.
Спросишь ты — и прекрасную плоть пронизав,
К свету выйдет душа твоя. Сразу же к ней
И моя полетела стремглав!

XXV

О, не правда ль — с тобою мы счастливы ныне.
Мы прошли по дороге, за юностью вслед,
Мы не думали вовсе, что молодость минет
И покажется после с высот новых лет
По сравнению с ними пустыней!

XXVI

О, родная, ты видишь к чему все идет.
Две души, две туманности вместе сольются.
Тонет каждая в каждой. Скала пусть встает
На дороге двух рек. Знай, их волны пробьются
И единый поток потечет!

XXVII

Что же ждет за пределами мира земного
Душу общую? В нерукотворном дому
Ей, единой, великое явится Слово.
Небо рухнет на землю. Но Слову тому
Предначертано сделать все новым!

XXVIII

Мысль пришла к тебе — тотчас моя уж она.
Сердце шепчется с сердцем так ясно порой.
Но душа твоя в тонкостях искушена
Много больше моей. Помоги мне. Открой,
Что скрывает небес глубина!

XXIX

Кто б тогда предсказал нам то чудо, что будет?
Просто к счастью тянулись. Его одного,
Столь обычного жаждали. Кто нас осудит —
Мы с тобою стремились к тому, без чего
Очень редко обходятся люди.

XXX

Что ж, давай возвратимся к истоку вдвоем.
Все забудем затем, чтобы вспомнить все вновь.

Разбросаем мы четки жемчужным дождем,
С новой силой почувствуем нашу любовь
И разбросанное соберем!

XXXI

Что сказал я? Ах да — все поет и поет
Птица тихо и сладостно целые дни.
Ровно в полдень умолкнет, заметив полет
Пары ястребов. Крылья расправят они —
Всем полоскам устрой пересчет!

XXXII

А за полднем, нет, к вечеру — так чуть точнее —
Вырастает огромной стеной тишина.
Сколько нового, тайного скрыто за нею.
Тайны рвутся наружу. Ты слышишь — стена
Прогибается все сильнее!

XXXIII

Мы бродили по этим безмолвным дорогам
То раздельно, то под руку. Тихо с тобой
Я все вел разговор. И пока понемногу
Шел он, сердце мое к речи рвалось другой,
Но удерживал сердце я строго!

XXXIV

Замолчав на мосту, всю часовню кругом
Обошли мы, вздохнув об испорченной фреске.
Вот бы нашим двум душам когда-то потом
Обрести здесь уют. Как беззвучно. Ни плеска.
Лишь звенят комары над прудом.

XXXV

Вот окошко с решеткой. Что там, интересно?
На скамейку привстав, разглядим без труда
Крест, алтарь. Без даров — по причине известной
Вдруг зайдет мимоходом бродяга сюда,
Не боящийся молний небесных.

XXXVI

Весь алтарь осмотрели мы, пусто на нем.
Оглядели и портик и ржавую дверь.
Дату видели. Жалко, что смыло дождем
Половину Крестителя. Что же теперь?
В путь обратный? Ах нет, — подождем!

XXXVII

Как безмерно мгновение в сладостный час!
Лес умолк. Вдалеке где-то плещет вода.
Нежный сумрак окутал все. Запад погас.
Все темнее, темнее. Гляди-ка — звезда.
Загорелась и смотрит на нас.

XXXVIII

Ни души. Только тьма все ведет наступленье.
Мы молчали и каждый наверное знал,
Что все звуки, все схватки меж светом и тенью
Служат только затем, чтобы он удержал
Нарастающее волненье.

XXXIX

Вот еще чуть вперед, и — о, как это много!
Чуть назад — и какие миры исчезают!
Лишний шаг — и какая для счастья подмога.
Слышишь, кровь свои лучшие такты играет.
В том порука — вся наша дорога!

XL

Пожелай — и тончайшая встанет преграда
(Хоть вполне ощутимая) перед тобой —
Мы беседуем просто и видим отраду
В разговоре друзей. Как, и только? Пстой,
Не влюбленные ль мы? О, не надо!

XLI

Встань пред лучшим своим, никуда не спеша.
Можно кроны терзать урагану весною,
Но теперь лес недвижим — застыла душа
В час печальный, глубокой осенней порою,
Над последним листом чуть дыша!

XLII

Для того, чтоб чуть большее приобрести
И любовника выиграть, друга утратив,
Можно смело все кроны в лесу отрясти.
Листьев много весною — природа заплатит.
Но последний — в особой чести!

XLIII

Пусть он сам оторвется и ветром осенним
Увлекаем, свободно парит в вышине.

Пусть кружится, пусть, только закончив круженье,
Навсегда ляжет в сердце твоём в тишине...
Но, волнуясь, ты ждешь продолженья!

XLIV

О глаза твои темные! Нет с ними слада.
Эти волосы черные, взору под стать!
И какого за них испугаюсь я ада!
И не страшно бороться, легко умирать
Лишь в надежде подобной награды!

XLV

Ты могла б отвернуться, чтоб все оценить,
Чтоб подумать: все сразу решить или прежде
Чуть помедлить, еще эту пытку продлить,
Погрузить ли в отчаянье, дать ли надежду
Или тотчас же все прекратить.

XLVI

Но ты сердце свое мне открыла легко.
Взглядом радость вдохнула в сосуд мой скудельный
Ах, коль двое вблизи, как бы ни велико
Было счастье, но все же — их души раздельны.
Быть лишь рядом — то так далеко.

XLVII

А еще через миг, мановеньем руки
Нам неведомой, ночь опустилась над лесом.
Но мы знали — уже мы с тобою близки.
Наши жизни слились. Разорвалась завеса.
Мы едины, всему вопреки.

XLVIII

Это лес нам помог, вдруг проснувшийся, чтобы
Волшебством нас с тобою навеки связать.
Это чарам его покорились мы оба.
И как только свершилось все, тотчас опять
Еще крепче уснули чащобы.

XLIX

Мы ведомы в сем мире. Все то, что мы знаем,
Все, что видим и чувствуем, — лишь переход
К осознанию Промысла. Мы прозреваем,
И душа нам приносит задуманный плод.
Миг — и он о себе объявляет!

I

Чем бы ни был тот плод, но он силу Устава
Получает, навечно нам в спутники дан.
Ах, как каждый из нас, Провиденью в забаву,
Тщится выдумать миру свой собственный план,
К миллиону забытых вдобавок!

LI

Путь мой назван, его уже не изменить.
Все открылось, таившееся в глубине.
Жизнь без смысла на этом пора завершить.
Знаю точно, что в мире положено мне:
Я рожден, чтоб тебя полюбить!

LII

И смотреть на тебя: Ты сидишь у огня,
Ты над книгой задумалась. О, как я знаю
Эту позу твою. Ты, молчанье храня,
Лоб высокий подперла рукою. Читая,
Ты прошла тот же путь, что и я!

LIII

На земле все замышленное для меня
Получилось. И замысла нет совершенней.
И его хорошенько обдумаю я
В тихом доме, угрюмой порою осенней,
Как уж сказано мной: у огня.

*Перевод с английского
и вступительная заметка Алексея Кокотова*

Райнер Мария Рильке

1. ПАНТЕРА (Der Panther)

*В Jardin des Plantes, Paris**

От переводчика. «Пантера» (конец 1902 или 1903) — двенадцатистрочный шедевр Р.-М. Рильке (1875—1926), один из первых плодов изобретенного им жанра Ding-Gedicht (стихотворение-вещь), разработанного затем в многочисленных опусах «Новых стихотворений» (книга вышла в свет в 1907 году).

По признанию автора, стихотворение возникло благодаря совету Родена, в мастерской которого поэт тогда занимался. Рильке однажды пожаловался Родену на то, что ему в последнее время не пишется; Роден предложил походить в зоопарк, «смотреть на зверей, пока не увидите их. Двух-трех недель на это должно хватить» (цит. по: Чайковский Р. Р., Лысенкова Е. Л. «Пантера» Р. М. Рильке в русских переводах. Магадан: АО «МАОБТИ», 1996; любознательного читателя отсылаем к этому исследованию, где, кроме всего прочего, воспроизведены два десятка русских переложений «Пантеры»).

Переводчик, как ему и положено, смущен несопадением изображенного с изображаемым. Искаженное изображение получилось трехслойным: первый слой (строки 1—12, 13—18, 24, 29—31) пытается передать семантическую систему подлинника; второй (строки 19—23, 25—28, 32—36) — рефлектирует по поводу знаков этой системы; третий (строки 37—48) — полная отсебятина, ставящая переводимого автора в позицию созерцаемого объекта, «овеществляющая» его (как, впрочем, и завещал нам великий австриец).

I

Ее зрачки в затверженном кристалле
слепит мимолетающий частокол —
так, что внутри заклатья этой стали
и вне его мир абсолютно пол.

Как маятник, движенья мышц упруги.
Танцующую кто заворожил
всю жизнь кружить в сужающемся круге
с безликой волей в средоточье жил?

* [В] Зоологическом саду, Париж (фр.)

Лишь иногда безмыслия с зеницы
слетит бельмо — и блик скользнет туда,
где Обликом он мог бы становиться,
но растворится навсегда.

II

Квадратом клетки предначертан путь — и
она твердит, не думая, его.
Гляди: нет никого в тысячепрутьи,
нет вне тысячепрутья ничего.

По прихоти неведомой упруга
гарцующая поступь. Но, скользя
вдоль спиц, исчислить квадратуру круга
нам — ни чутьем, ни разумом — нельзя.

Лишь со-вмещеньем проблеска с просветом
Ты, со-творивший зренье, дань берешь —
и со-страданье зреет в стыке этом,
рождая мышечную дрожь.

III

Что делать с телом абсолютно черным,
овеществившим домыслы в себе
философов, довлеющим упорным
круженьем вечной тяжбе и борьбе

с Тем, Кто стоит незримо в центре круга,
ее шагов настраивая мах
на ритм сердцебиенья от испуга
или секундной стрелки, Кто впотьмах

незнанья пух прозрения к ab ovo
сдувает — всякий раз как повезло
гадающим: не спросишь часового —
добро он стережет иль зло.

IV

Равно ослепли от дифракционных
видений утомленные глаза
двух кажимостей, равноудаленных
от подлинности, прячущейся за

двоякоотражающим зеркалом,
сливающим в прообразе одном

улыбку зверя с жалобным оскалом
той твари, что в зверинце площадном,

сжимая в пальцах палочку, по часу
подчас, листок терзает ею, — но
чудно поверить мыслящему мясу:
оно с немслящим — одно.

2. [ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ] («Komm du, du letzter, den ich anerkenne...»)

От переводчика. Стихотворение написано во время предсмертной болезни, в санатории «Валь-Мон» (Швейцария), предположительно — в середине декабря 1926 года; это последняя запись в последней рабочей тетради Рильке.

Последнее, что мной еще ценимо, —
ужасный зной в телесной тесноте,
ты чуешь ли, как плоть, в тебе палима,
горит костром древесным на кресте
костра? С собой, потворствуя и вторя,
кормлю тебя, обрушиваясь в зев, —
перехожу из Милого — о, горе! —
по лабиринтам мук в подземный гнев.
И, яростно очищенный в печи,
в горниле боли, более не чая
утешного отзýва на лучи,
что сердце слало, звездам докучая,
я дотлеваю... Я ли это? Я
ли эта память, выжженная тьмой?..
О, жизнь — в пыланье инобытия!
Уже неузнаваемый, я — твой...

Перевод с немецкого Алексея Пурина

С. В. Соловьев

ПУСТОШЬ

Вольный перевод поэмы
«The Waste Land» Т. С. Элиота

Предлагаемая вниманию читателя работа первоначально мыслилась, как перевод знаменитой поэмы Томаса Стернза Элиота «The Waste Land» (1922). Окончательный вариант текста, однако, если и принадлежит к жанру перевода, то находится на самой границе, а возможно, и на нейтральной полосе сразу за нею, так что даже характеристика «вольный» (или «адаптированный») может оказаться недостаточной. На то были свои причины.

Возможно, главная из них состояла в том, что поэма Элиота — произведение исключительное, по крайней мере, для современной литературы. Огромную роль в поэме играет скрытое и явное цитирование различных текстов, как старых, так и написанных сравнительно недавно (Библия, «Божественная Комедия» Данте, произведения Шекспира, Мильтона, Бодлера, «Огненная Проповедь» Будды, солдатские песенки времен Первой мировой и мн. др.). Александр Блок сравнивал где-то стихотворение с плащом, растянутым на остриях нескольких слов. Подобным образом используются Т. С. Элиотом цитаты. Они задают смысловое пространство поэмы.

Обычное противоречие между духом и буквой, терзающее переводчика, в связи с этим достигает особенной остроты. Если дух заключается в «вызывании духов» — великих предшественников, исторических событий, духов места или стихий, погибшей культуры, а средством — заклинаниями — служат цитаты, то надо ли переводить заклинания? Будут ли они действительны? И если да, то надо ли пользоваться цитатами из Шекспира в переводе Пастернака или Щепкиной-Куперник?

К особой роли цитат у Элиота надо еще добавить загруженность смыслом физического пространства (разрывы непрерывности, символическое значение, придаваемое морю, пустыне и т. д.).

На сегодняшний день опубликовано (в СССР и России) несколько русских переводов (с соблюдением традиционных правил): первая часть поэмы была переведена на русский язык еще в тридцатые годы. Но даже лучшие из них, как например перевод Андрея Сергеева, оставляют ощущение утраты. По ним очень трудно ощутить воздействие оригинала на англоязычного читателя.

Таким образом, желание сохранить верность оригиналу заставило нас от него уйти. Результат может рассматриваться как творческий эксперимент, удачный или нет, судить читателю. Во всяком случае, большинство принципов современного перевода оказались нарушенными.

Основные принципы, положенные в основу данной работы, можно кратко суммировать следующим образом:

1) Поиск соответствий в контексте культуры и систематическая замена цитат, намеков, исторических событий, которым придается символическое значение, на им соответствующие по смысловой роли. (Во всех случаях конкретный выбор остается на ответственности переводчика и, наверняка, во многих конкретных местах покажется спорным. Тем не менее сама возможность последовательного проведения подобного подхода в случае «The Waste Land» говорит в его пользу.)

2) Географический «сдвиг». (Как уже говорилось, география играет в поэме немалую роль.) В переводе сделана попытка сохранить связи между упоминаемыми местами, одновременно сделав их понятными и вызывающими эмоциональный резонанс. В основном западноевропейские реалии заменялись петербургскими. Мотивировка — исключительное для Петербурга среди городов России сочетание прошлого имперской столицы с особой ролью в развитии культуры и географическим положением (неразрывная связь с морем).

3) Историческая модернизация. Она оправдывается тем, что лишь по завершении 70-летнего существования СССР мы оказались в положении, напоминающем Западную Европу после Первой мировой. Взав на вооружение первые два принципа, переводчик был фактически вынужден принять и этот.

Заинтересованного в конкретных деталях читателя отсылаем к подробным примечаниям, которыми сопровождается текст поэмы. Основная часть их принадлежит С. В. Соловьеву, а остальные (выделенные курсивом) являются переводом примечаний Т. С. Элиота. Все случаи «адаптации» текста подробно оговариваются в примечаниях.

В заключение автор хотел бы поблагодарить Андрея Лебедева за неоценимую помощь в работе над данным текстом и Сергея Шкодина за ряд полезных замечаний.

'Nam Sibyllam quidem Cumis ego
ipse oculis meis vidi in ampulla pendere,
et cum illi pueri dicerent: Σιβυλλα τι
θελεις; respondebat illa: ἀποθανειν θελω.¹

For Ezra Pound *il miglior fabbro*²

1. ПОГРЕБЕНИЕ МЕРТВЫХ

Апрель — жесточайший месяц, выводит
Сирень из мертвой земли, морочит,
Нас, память смешивая с желаньем, тревожит
Дряблые клубни — весенним дождем...
Зима в тепле нас держала,
Забвенья снегами заботливо нас укрывала,
Скромную жизнь питала высушенными корешками...

¹ Однажды своими глазами видел я Сивиллу, которая в Кумах, висящую в сосуде, и когда мальчишки ее спросили: *Сивилла, чего ты хочешь*; она отвечала: *хочу умереть* (лат., греч.).

² Эзре Паунду, большому мастеру.

- Лето враспloch нас застало
 В начале мая грозой в Петергофе,
 10 Мы спрятались от нее в колоннаде
 А вышли на солнце, посреди Летнего Сада,
 Пили кофе и болтали в течение часа.
 Bin gar keine Russin, stamm'aus Litauen, echt deutsch
 А когда в детстве меня позвали в гости к великому князю,
 Моему кузену, и устроили катанье на санках,
 Я испугалась. Он обхватил меня и говорит: Мария,
 Мария, держись. И мы полетели вниз.
 В горах чувствуешь себя свободным.
 20 Я читаю большую часть ночи и езжу на юг зимой.

- Что это за корни вцепились
 В эти груды щебня, что за ветви растут
 Из этого хлама? Сын человеческий,
 Ты не знаешь ответа, тебе ведомы лишь
 Осколки образов, где бьется свет.
 Мертвое дерево не дает тени, кузнечик — утешения,
 А сухой камень — и шума воды. Лишь
 И есть там, что тень, под этой красной скалой.
 (Иди сюда, в тень под этой красной скалой)
 30 И я покажу тебе кое-что отличное от
 Твоей утренней тени, шагающей за тобой,
 И вечерней тени, что встает навстречу тебе —
 Твой страх в пригоршне праха.
 Frisch weht der Wind
 Nach Heimat zu
 Mein Irisch Kind
 Wo weilest du?

- «Вы впервые подарили мне гиацинты год назад.
 С тех пор они меня называют „Девушка с гиацинтами“»
 40 — И однако когда мы пришли назад, поздно, из Сада
 Ворох цветов у тебя, в волосах не высохли капли,
 Я был нем, и очи мои ослепли,
 Ни жив я был и ни мертв, и не знал ничего я,
 Глядя в сердце света, молчанье.
 Oed'und leer das Meer.

- Мадам Созострис, знаменитая ясновидящая,
 Здорово простудилась, но все ж
 Всем известна была как мудрейшая дама Европы
 С грешной колодой карт. Вот, сказала она,
 50 Ваша карта: утонувший Финикийский Моряк,
 (Ныне перлы, что было его глазами. Смотри!)
 А вот Беладонна, Леди Скалы,
 Она в центре ложится, вот так.
 Бродяга с тремя посохами и Колесо,
 Одноглазый Торговец, а эта пустая карта,

- То, что он принесет с собой,
И чего видеть мне не дано. Что-то не видать
Повешенного. Остерегайтесь смерти от воды.
Я вижу толпы, бредущие по кругу.
60 Ну все, спасибо. Увидите госпожу Ровницкую —
Скажите, я сама ей занесу гороскоп.
Знаете, в наши дни надо быть осторожным.

- Умышленный город,
Нереальный Невский,
Черные толпы в буром тумане зимнего утра
Я и не думал, что смерть истребила столь многих.
Изредка вздох, незаконное облачко пара,
Каждый только под ноги глядит.
70 Под землю, вниз, вверх, вдоль по Садовой спежит,
По Перинной, по Думской и хрип на девятом ударе.
Я узнал одного и окликнул через улицу: «Фрумкин!
Послушай, я вспомнил, мы бились вместе на Калке!
Кстати, как затея твоя с мавзолеем?
Труп этот твой, как он, пророс наконец?
Будет цвести, даст много плода к ноябрю?
Или снова не вышло? Заморозки? Постаралась Собака?
Я же тебе говорил — держи этих друзей человека подальше,
Не то они все разроют своими ногтями».
«Ты! hypocrite lecteur! — mon semblable, — mon frere!»

2. ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ

- 80 То кресло, где она сидела,
Роскошное, как византийский трон,
На мраморе горело, будто угли,
А зеркало на столбиках резных,
Украшенных резьбою в виде
Двух Купидонов позолоченных, из коих
Один выглядывал из виноградных листьев
(Другой глаза прикрыл крылом), двоило
Свет семисвечников, отбрасывая отблеск
На столик, где навстречу поднималось
90 Сиянье драгоценностей, без меры
Насыпанных в обитые сатином
Шкатулки; из флакончиков хрустальных,
Стеклянных, костяных, небрежно
Оставленных открытыми, змеились
Ввысь сотни странных ароматов,
В природе небывалых, разжигая
И оуплая чувства; поднимались
Вдоль комнаты, гонимые дыханьем
Окна открытого, подкармливая пламя
100 Высоких свеч, и улетали дымом

Вдоль потолка деревянного, теряясь
В резных провалах.

Цельный ствол в камине
Горел, пропитанный в морских скитаньях медью,
Оранжевым и зеленью, и в этом
Печальном свете плыл резной дельфин.

Над кружевом старинного экрана
Прекрасная, как вид на райский сад,
Лесная сцена: превращенье Филомелы,
110 Что варваром-царем была когда-то
Так дико изнасилована, Голос
Афинской девы, обращенной в соловья,
Один лишь грубому насилью неподвластный,
Всю наполнял пустыню; и поныне
Рыдает дева, и поныне соловей
Захлебываясь, щелкает и свищет
В нечистые бальзам вливая уши.
Предания глубокой старины
120 Со стен пытались говорить; и тени
Склоняясь, обветшалые, смотрели.
Шаги прошелестели по ступеням.
Ее власа под щеткою искрились,
В слова почти переливаясь, но
Все замерло, оборванное грубо.

«У меня что-то плохо с нервами. Совсем сдают к вечеру.
Останься, а?»

Поговори со мной. Почему ты никогда ничего
не говоришь. Говори.
О чем ты думаешь? Что ты думаешь? Что?
Я никогда не знаю, что же ты думаешь. Думай!»

130 «Я думаю, мы на крысином Невском,
Где мертвецы порастеряли кости».

«О боже, что это за шум?»
Сквозняк под дверью.
«А это? Что они там вытворяют?»
Ничего, и снова ничего.

«Ты
никогда ничего не знаешь? Не видишь? Не
помнишь?»

Я-то помню.

Ныне перлы, что было его глазами.
140 «Ты жив или нет? Есть ли хоть что-нибудь у тебя
в голове?»

Но
«Моей любви лишиться навсегда-а-а...»
Так это элегантно
Так интеллигентно.

«Ну и что мне теперь делать? Что я буду делать?
Вот выскочу на улицу, в чем есть, и волосы распушены,
вот так?»

Что мы будем делать завтра? И вообще?»

Горячая ванна в десять.

А если будет дождь, то крытая машина к четырем.
150 И мы сыграем партию в шахматы,
Тря усталые глаза и ожидая стука в двери.

Когда Лилькин муж; увольнялся из рядов,

Я ей так прямо и сказала —

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОРА

Алик вот-вот вернется, приведи-ка себя в норму!

Он же захочет знать, куда ты спустила бабки,

которые он тебе давал,
Между прочим, на зубы. Я же была при этом, уж мне ли
не знать.

Выдери-ка все, Лилечка, и сделай-ка челюсть

Он говорил, на тебя просто нет сил смотреть.

160 И мне, кстати, тоже противно, и не мешало бы тебе
подумать о бедном Алике

Четыре года с автоматом, человек захочет пожить,

А не с тобой — найдутся другие.

— Другие? — говорит она. — Да, — говорю я, — другие.

Тогда я буду знать, кого благодарить, говорит она,
и смотрит эдак прямо на меня.

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОРА

Не нравится, не слушай, можешь продолжать в том же
духе, сказала я.

Других и без нас хватает.

Только если твой Альберт сделает ноги, не говори,
что тебя не предупреждали.

170 Да стыдно же, говорю, выглядеть такой развалиной!
(А ей всего-то 31)

Ну, рожа у ней вытянулась, я, говорит, ничего не могу
поделать.

Это все таблетки, ну, те самые, ты знаешь, чтобы
не залететь.

(Она уже пять раз была в клинике, а на Жорке чуть
не сдохла);

Мне, говорит, сказали в аптеке, что без побочных, но я
с тех пор уже никогда не чувствовала себя как раньше.

Да ты **НАСТОЯЩАЯ** дура, я говорю.

Если уж Алик не дает тебе покоя, тут никуда не денешься.

Но коли ты детей не хотела, зачем лезла замуж!

Короче, в воскресенье Алик наконец был дома,

180 Они запекли по этому случаю окорок,
И меня позвали, как говорится, с пылу с жару.

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОРА

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОРА

- Г-н Евгенидес, бизнесмен из Смирны,
Небритый, с карманами набитыми изюмом
(С. И. Ф. СПб.: документы в обмен на подпись)
- 230 Позвал меня на демотическом французском
С ним отобедать в ресторане на Пушкирской,
А после и на уикэнд в «Метрополе».
- В лиловый час, когда
Усталые глаза впервые
За день взглянут не на конторский стол, а выше,
И сердца пламенный мотор дрожит подобно
Такси возле парадного подъезда,
Я, Тиресий, богиней ослепленный
И обреченный биться меж
- 240 половинок жизни,
Слепой старик со сморщенной женской грудью, вижу:
В лиловый час, вечерний час, к отчизне
Несущий моряка с волной прилива
(И дом его родной все ближе, ближе...)
Как секретарша дома торопливо
Спускает завтрак в мусоропровод,
Из холодильника жестянки, достает
И создает уют, меняет платье, —
Закатный луч позолотил шмутье
- 250 За окнами, и нижнее белье
Не убрано еще с диван-кровати, —
Я видел все, и знал уже финал.
Я вместе с нею ее гостя ждал.
Вот он является, в карбункулах юнец,
Младший клерк какого-нибудь
«Общества с ограниченной ответственностью» или
«Товарищества на вере»
Плебей, на ком уверенность сидит
Словно шелковый цилиндр на псковском миллионере.
Он мыслит: пробил час; окончен ужин,
- 260 Она уже зевает и устала,
К чему слова, здесь лишний такт не нужен —
Да и вообще-то нужно очень мало —
Две пятерни оглаживают карту,
Хотя маршрут известен наперед,
Своим тщеславие питается азартом
И равнодушие приходит в свой черед.
(А я, Тиресий, то же претерпел,
Все это чувствуя, всей кожей это видя,
Я — тот, кто у фиванских стен сидел
- 270 И с проклятыми говорил в Аиде.)
... Он ей дарит хозяйский поцелуй,
И уходит, нащупывая темные ступени.
- Полоборота, быстрый взгляд в стекло —
Не более, едва ли об ушедшем

- Хотя б полмысли — было и прошло,
 И слава богу, что сие уже в прошедшем.
 Зачем вы девушки... опять она одна,
 Шагами меряет — от стенки до кровати,
 280 Поставит музыку, покурит у окна,
 Причешется движеньем автомата...
- «Ко мне та музыка подкралась по волнам»
 Как запах корюшки в весеннюю путину,
 О мореплавателях и землепроходцах
 Напомнив... Переключка куполов —
 Здесь, у Николы, и морской собор — в Кронштадте,
 И хрип гармоники (поет моряк безногий) —
 И надо всем неизъяснимый свет
 Софии Китежской, где нас с тобою нет.
- 290 Реки на граните
 Мазутный пот
 Грузные баржи
 Качает прилив
 Миражем
 Красного паруса взлет...
 Гнилые бревна
 Толкает борт
 Заячий остров
 Глазницы мостов
 Причалы, доки
 300 Торговый порт
 Вейалала лейа
 Валлала лейалала
- Весел удары
 Потешный флот
 С шипеньем воду
 Режет бушприт
 От царских взмахов
 Трещит весло
 И ялик бодро
 310 Летит вперед
 Вейалала лейа
 Валлала лейалала
- Трамвай и пыльные деревья...
 Охта родила меня, а Лиговка, знамо, сгубила.
 На спуске к Обводному
 Развела я колени
- Мои ноги — у Нарвских ворот,
 А сердце — у меня под ногами.
 Как дело было сделано, он вдруг заплакал и говорит:

- 320 Забудь, начнем все сначала.
 Ну, я пожала плечами
 И промолчала.
- На песках Залива
 Я вам сведу
 Ничто с ничем.
 Обломанные ногти грязных рук.
 Мои старики — это такой народ.
 Забитый народ — и не ждут уже
 Ничего.
- 330 Ла ла

Я прибыл тогда в Карфаген

Палящий палящий палящий палящий
 Господи, выхвати меня отсюда
 Господи, выхвати

Палящий

4. СМЕРТЬ ОТ ВОДЫ

- Флеб Финикиец четырнадцать дней как умер.
 Забыл крик чаек и зыбь глубокого моря,
 И доход, и убыток.
- Морские течения нежно
- 340 Перемыли, шепчась, его кости. Затерянный
 в горьком просторе
 Миновал он и зрелость и юность
 Погружаясь в водоворот.
- Язычник ты или живешь по Писанью,
 Кто б ты ни был, держащий штурвал, взыскуя
 попутного ветра,
 Помни Флеба: как ты, был он высок и прекрасен,
 Хотя ни слова о нем не сохранило преданье.

5. ЧТО СКАЗАЛ ГРОМ

- Вслед за факельным отблеском света на покрытых
 испариной лицах,
 Вслед за холодным молчанием в садах,
 За агонией в камнем одетых столицах,
 350 В орущих и плачущих тюрьмах и дворцах,
 и раскатом
 Весеннего грома над горами, застывшими в отдаленье,
 Он, живой, ныне мертв,
 Мы, что жили, теперь умираем,
 Допивая по капле терпенье.

Здесь нет воды, но только скала,
Скала, и нет воды, и дорога в песке,
Дорога, вьющаяся среди гор,
Скалистых гор без воды.

- 360 Была бы тут вода, мы б могли припасть и напиться,
А среди этих камней даже мысли не примоститься.
Наш пот сух и ноги в песке,
Если б только была вода среди этих скал —
Но даже плюнуть не может гор кариозный оскал...
Ни сидеть, ни лежать, ни стоять невозможно

в проклятых горах —

Лишь всухую гром сотрясает прах.

Нет даже одиночества —

Какие-то красные рожи

глядят из потрескавшихся лачуг.

Если бы только была вода

И не было скал

- 370 Если б были скалы,

Но также вода

Вода,

Родник,

Лужица среди скал,

Хотя бы плеск воды,

А не стрекот цикад,

И шелест высохших трав,

Плеск воды за скалой,

Где пустынный-дрозд

- 380 Выводит в сосновых ветвях:

Кап-кап кап-кап кап-кап,

Но здесь нет воды.

Кто этот третий, что всегда идет рядом с тобой?

Когда я пытаюсь считать, нас только двое,

Но когда я гляжу вперед на кремнистый путь,

Краем глаза я вижу: есть третий рядом с тобой

В коричневом плаще с опущенным капюшоном.

Я не знаю даже, мужчина это или женщина.

Но кто тогда идет по другую сторону от тебя?

- 390 Что это за звук в вышине?

Шепот материнских жалоб.

А безликие орды под капюшонами, несущиеся

По бесконечным равнинам, спотыкаясь,

на растрескавшейся земле,

В кольце горизонта?

Что это за город над горами

Рушится и меняет форму и взрывается

в фиолетовой дымке?

Падающие башни

- Иерусалим Афины Александрия
Вена Лондон
400 Нереальны
- Женщина натягивала свои длинные черные волосы
на гриф
- Руки, и нашептывала музыку на этой струне,
А летучие мыши с лицами детей под ее мотив
Свистели и хлопали крыльями по стене.
И вниз головами сползали с верхних рядов.
На перевернутых башнях колокола звонили —
Лишь цитата из памяти — те, что некогда время хранили
И в пересохших колодцах эхо живых голосов.
- В пересохшем озере среди гор
410 В бледном лунном свете поет трава
Над могилами Китежа с церковью рядом —
Есть там церковь пустая, лишь ветра жилище.
В ней окон нет, и дверь скрипит,
Сухие кости не грозят никому...
Петушок прокричал — на незримом коньке —
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!
Вспышка молнии. Влажного ветра порыв
Несущего дождь.
- Ганг обмелел и поникшие листья
420 Ждали дождя, пока черные тучи
Собирались вдали над Химавантом,
Джунгли присели, сжались в молчаньи.
И тогда гром сказал:
DA
Datta: что же мы дали?
Мой друг, кровь, что стучит в моем сердце,
Безумная смелость раздачи мгновений,
Которых возраст благоразумия никогда не сможет вернуть,
Этим, и этим только, мы существовали,
430 Об этом не прочтешь в наших некрологах,
Или в воспоминаниях, затканых благосклонным пауком,
Или под печатями, сломанными сутулым нотариусом
В наших опустевших квартирах.
DA
Dayadhvam: слышал я, как ключ
Повернулся однажды в дверях — и только однажды.
Мы все думаем о ключе, каждый в своей тюрьме,
Думая о ключе, этим лишь укрепляем тюрьму.
Лишь к ночи эфирные слухи
440 На миг возвращают к жизни
Сломленного Кориолана.
DA
Damyata: лодка ответила

Радостно, рукам, знакомым с веслом и парусом,
 Море было спокойно, и сердце ваше
 Забилось бы радостно, когда б
 Звано оно было, послушное
 Надежным рукам.

- 450 На берегу пустынных волн
 Сидел я с удочкой. Безводная равнина — за мною.
 Наведу ли я когда-нибудь порядок в своих землях?
 Дворцовый мост падает, падает, падает.
 Poi s'ascose nel foco che gli affina
 Quando fiam uti chelidon — Ах, ласточка, ласточка...
 Le prince d'Aquitaine a la tour abolie.
 Эти обломки я выудил и сложил у моих развалин.
 Вам это должно подойти. Мышкин отбывает 3 мартабря.
 Datta. Dayadhvam. Damyata.
- 460 Shantih. Shantih. Shantih.

Примечания*

Название. — Обычный перевод — «Бесплодная Земля», но крайне важен оттенок бесплодия не изначального, а приобретенного.

Часть 1

Название первой части. — Название указывает на Евангельские слова: «Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». (Матф., VIII, 22)

1. «Апрель — жесточайший месяц...». — Очевидна связь с пасхальной символикой смерти-воскресения. Еврейская Пасха — праздник в память Исхода из Египта, который назывался Черной или Мертвой Землей, христианская Пасха — праздник Искупительной Жертвы и Воскресения. На этом символическом фоне не столь важно, что апрель для сирени (в России) несколько рано.

9. «В начале мая грозой...». — Ср. Тютчев, «Люблю грозу в начале мая...». В оригинале тут цитаты нет. Мотивировка для использования цитаты в переводе: метод построения оригинальных произведений на основе цитат, никак не выделенных в тексте, но узнаваемых, стал встречаться в русской литературе сравнительно недавно, как правило, в тональности грубо-саркастической (Кибилов). Элиот же часто вполне серьезен. Требовалось как можно раньше обозначить прием, малознакомый читателю. По своему буквальному смыслу слова Тютчева очень близки к тексту Элиота.

9-12. Первое использование принципа географического (или топографического) переноса. Петергоф и Летний Сад соответствуют

* В Цифры слева указывают номера строк. Перевод примечаний, принадлежащих Элиоту, дается курсивом.

Starnbergersee и Hofgarten'у в тексте Элиота. Starnbergersee — большое озеро примерно в сорока километрах от Мюнхена, Hofgarten — сад при королевском дворце в центре города, возникший еще в эпоху Ренессанса. В этом месте поэмы нарушается непрерывность пространства (рассказчик прячется от дождя около озера и выходит в сад). Разрыв непрерывности настолько важен, как символическая тема, что переводчик счел необходимым воспроизвести его на понятном материале. К слову, дополнительной мотивировкой использования цитаты из стихотворения Тютчева (ст. 9) служит парадоксальная переключка мест: как известно, Тютчев создавал свое хрестоматийное стихотворение именно в годы службы в русском посольстве в Мюнхене.

13-18. Элиот использовал здесь мемуары Марии Лауриш, где речь шла о родстве с Австрийским Домом — после крушения Австро-Венгрии. В переводе Австро-Венгрия была бы анахронизмом, и роль отрывка (вводящего новую форму разрыва связей и нарушения непрерывности) может быть сохранена намеком на наш собственный императорский Дом.

23. *ср. Иезекииль, II, I.* — Э. В русском синодальном переводе: «Такое было видение, подобие славы Господней; увидев это, я пал на лице свое и слышал глас Глаголющего, и он сказал: „Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою“».

26. *ср. Екклесиаст, XII, 5.* — Э. В русском синодальном переводе: «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой и готовы окружить его на улице плакальщицы».

34-37. *Вагнер, «Тристан и Изольда», I, ст. 5-8.* — Э.

44. *Там же, III, ст. 24.* — Э.

39. У Элиота «They call me „Hyacinth girl“». Буквально, «они зовут меня „Гиацинтовой девушкой“». Важно, кто эти они, «they». Во всей поэме «они», толпа, всегда выступают как пошлая и опошляющая сила, отсюда «Девушка с гиацинтами» как вариант возможного в подобной ситуации прозвища.

47 и далее. *Я не знаком с точным составом колоды Таро, от которого я очевидным образом отошел так, как мне было удобней. «Повешенный», который входит в состав традиционной колоды, соответствует моим целям в двух отношениях: во-первых, поскольку он ассоциируется в моем сознании с Повешенным Богом Фрезера, и поскольку я связываю его с фигурой под капюшоном из путешествия учеников в Эммаус в части 5. Финикийский Моряк и Торговец появляются позже; также «толпы народа», а «смерть от воды» осуществляется в части 4. Человека с Тремя Посохами (аутентичный член колоды Таро) я связываю, весьма произвольно, с самим Королем-Рыбаком.* — Э.

В данном отрывке поэмы Элиот совмещает крайне ироническое отношение к процессу гадания и к той, кто его осуществляет (насморк и т.д.) с вполне серьезным использованием его результатов как смыслообразующего фактора. Наиболее трудная для передачи линия поэмы — из основных — это мистическая линия Грааля и Короля-Рыбака, земли которого лишились плодородия в результате ужасной раны (кастрация) полученной королем.

В одном — не самом мистическом — из вариантов легенды, Грааль, это чаша с кровью Христовой, собранной у Распятия.

В русском фольклоре и культурной традиции эта линия практически не представлена, хотя угроза (и мистического, и практического) бесплодия русской земли очень реальна. Все, что удалось сделать в переводе — представить тему «диффузно», используя такие фольклорные образы как «Китеж» и их трансформацию (пересохшее озеро, на дне которого находился град). Все же тема Грааля у Элиота является инструментальной, подчиненной теме казни бесплодием.

52-53. Английские комментаторы Элиота сходятся на том, что Беладонна — символ всех женских образов поэмы, с которым постоянно ассоциируется тема изнасилованной и поруганной женственности. В этом смысле наш перевод ст. 53, на первый взгляд далекий от соответствующего английского «The lady of situations», вполне соответствует духу поэмы.

54. В английском тексте «Here is the man with tree staves...», т.е. «вот человек с тремя посохами». Мы перевели с некоторым усилением «Бродяга с тремя посохами», имея в виду такие образы изгнанных королей, как Лир — у Элиота также связь этого персонажа с королем-рыбаком никак не подчеркнута, и соответствие символу ищется скорее по принципу незаполненного места.

55. Пустая карта, «бланковая»; в некоторых колодах Таро начала века их было до половины состава.

60. Госпожа Ровницкая. — «Mrs. Equitone» в английском тексте. Приходится следовать принципу переноса, раз он принят.

63-70. У Элиота, разумеется, описывается Лондонский Сити. В переводе используется принцип топографического переноса. Данное место перевода может также служить оправданием и подтверждением самого этого принципа: удивительна сама степень соответствия двух традиций — образ нереальной, призрачной столицы, погруженной в туман. (Ср. знаменитые описания Петербурга у Гоголя и Достоевского.) Элиот ссылается на два литературных источника, отношение которых к тексту нашего перевода примерно такое же, как к тексту оригинала.

63. *ср. Боглер,
«Fourmillante cite, cite pleine de rêves
Ou le spectre en plein jour raccroche le passant».* — Э.

В прозаическом переводе:
«Муравьящийся город, город, полный снов,
Где призрак среди бела дня обгоняет прохожего».

66. *ср. Данте, «Inferno», III, 55-57.
«si lunga tratta
di gente, ch'io non avrei creduto
che morte tante n'avesse disfatta».* — Э.

В переводе Лозинского:
«А вслед за ним столь долгая спешила
Чреда людей, что верилось с трудом
Ужели смерть столь многих истребила».

67. Ср. Данте, «*Inferno*», IV, 25-27
 «*Quivi, secondo che per ascoltare,
 Non avea piante mai che di sospiri
 che L'aura eterna facevan tremare*». — Э.

В переводе Лозинского:
 «Сквозь тьму не плач до слуха доносился,
 А только вздох взлетал со всех сторон
 И в вековечном воздухе струился».

71. В оригинале имя окликаемого — Stetson. В переводе сделана попытка передать полное несоответствие имени и древней битвы, в которой будто бы участвовал персонаж. Стетсон, однако — также название ковбойской шляпы. «Стетсон — шляпа, короновавшая [Дикий] Запад... Этому стилю предстояло взять штурмом рынок ковбойских шляп и сделать мультимиллионером [ее создателя] Стетсона». (Colin McDowell, «Hats», Thames & Hudson, 1997). Этот круг ассоциаций в переводе отразить не удалось.

72. У Элиота «in the ships at Mylae» (на кораблях при Милах). По смыслу существенно: 1) упоминание битвы очень древней (физическая невозможность присутствия рассказчика у его приятеля при обычном — непрерывном — времени), 2) битвы, безнадежно проигранной более культурной нацией, с разрушительными последствиями для культуры в будущем, 3) связь с водой (безводность связана с бесплодием). Мы старались сохранить эти аспекты.

73-78. У Элиота двусмысленные рассуждения о трупe, посаженном в саду, указывающие на магию плодородия — и ее бессилие, при бесспорно присутствующей (как контрапункт!) библейской теме о зерне, которое если умрет, то даст много плода. Более конкретный «мавзолейный» вариант выбран в переводе потому, что все наши российские прения вокруг Мавзолея также имеют явно магический оттенок, и также бесплодно противостоят библейской теме.

77. ср. с «Похоронной Песней» (*Dirge*) из «Белого гьявола» Webster'a. — Э.

79. стих Бодлера, Обращение к Читателю из «Цветов Зла». — Э.
 (В русском прозаическом переводе: «Лицемерный читатель — мой ближний, — мой брат».)

Часть 2

80. Ср. «Антоний и Клеопатра», II, ii, 190. — Э.

80-124. Некоторые комментаторы указывают на родство этого отрывка с рассказами Э. По, о погребении заживо и т. под. Нам представляется более правдоподобной связь мизансцены со стихотворениями Бодлера, именно, «Une Martyre» из «Цветов Зла». На Бодлера Элиот неоднократно ссылается сам. Одно не исключает другого, поскольку именно Бодлер открыл По для французской публики и переводил его рассказы. Что важнее, во всех источниках речь идет о трагической гибели женщины. (У Бодлера среди роскошной обстановки, описание которой занимает всю вступительную часть стихотворения, лежит обезглавленный труп.)

102. Резной потолок. Энеида, I, 726:

dependant Lychni Laquearibus aureis incenci, et noctem flammis finalia vincunt. — Э.

Отрывок взят из «Энеиды» Вергилия, а именно, из сцены пира у Дидоны, приветствующей Энея:

«Ярко лампы горят, с потолков золоченых свисая,
Пламенем мрак одолев...» (пер. С. Ошерова)

В латинском оригинале «laquearia» означает не простой, а резной деревянный потолок.

109. *Лесная сцена. Мильтон, «Потерянный рай», IV, 140. — Э.*

110. *Овидий, «Метаморфозы», VI, Филомела. — Э.*

По отношению к женским образам поэмы Филомела является главным символом: фракийский царь Терей, муж ее сестры Прокны, изнасиловал Филомелу, отрезал ей язык и заточил, чтобы Прокна не узнала о его преступлении. Филомеле, однако, было разрешено ткать, и она сумела выткать свою историю и передать ткань Прокне. Та освободила Филомелу, и, чтобы отомстить Терее, убила своих детей и подала их мясо на ужин царю. Когда Терей узнал, чье мясо он ел, он попытался убить сестер, но боги превратили их в ласточку (Прокна) и соловья (Филомела). Терей был варваром (фракийцем), в то время как сестры — дочерьми афинского царя.

111. Ср. с ч. 3, ст. 224.

129. Ср. с ч. 3, ст. 214.

132. Ср. Webster: «Is the wind in that door still?» — Э.
Буквально «И за той дверью тоже ветер?»

139. Ср. с ч. 1, ст. 40 и 51.

141. В оригинале «OOOO that Shakespeherian Rag...», что-то вроде «OOOO Шекспирировский рэг...» (на популярный мотив). В переводе взята строка из сонета Шекспира в переводе Маршака, с поправкой А. Б. Пугачевой, которая в своих исполнениях заменяла «твоей любви» на «моей любви», что произвело в свое время сильное впечатление на любителей поэзии.

150. Ср. с *Игрой в Шахматы, Middletone, «Women Beware Women».* — Э.

Название пьесы Миддлтона говорит само за себя: «женщины берегитесь женщин». Игра в шахматы (между ничего не подозревающей свекровью героини и сводней) разворачивается там одновременно с грубым соблазнением (почти изнасилованием) героини. Диалог до конца второй части является развитием темы отношения женщин друг к другу.

152-188. Перевод диалога почти дословен, и в точности передает его вульгарную интонацию. Единственное отклонение от оригинала, в соответствии с принципами данного перевода, состоит в полном исключении (достаточно расплывчатых) указаний на конкретную войну, 1914-18, в которой участвовал Альберт у Элиота.

Часть 3

192 и далее. В соответствии с принципами данного перевода, «Sweet Thames» («Милая Темза») всюду заменяется на «Державную Неву».

198. Ср. у Пушкина: «Здравствуй, племя / Младое, незнако-
мое...»

200. «У Женевского Озера сидел я и плакал...» Элиот использует синоним: Леман. По мнению переводчика, в культурно-историческом пространстве Леман занимает по отношению к России примерно то же место, что и к Англии, поэтому переноса не требуется. Название «Леман», однако, в России почти неизвестно, поэтому мы пишем «Женевское Озеро». Очевиден иронический парафраз «На реках Вавилонских...».

210-211. «О батюшке покойном, о царе...» У Элиота цитата из «Бури» Шекспира, где маг Просперо говорит о своих отце и брате (узурпация, изгнание...). К сожалению, «Буря» малознакома русскому читателю. Однако смысл отнятого наследия важен (см. далее — цитата из стихотворения Жерара де Нерваля). И что отнято, собственно говоря, царство — если говорить о ценности отнятого. В переводе фраза построена так, что сохраняется эта сторона смысла (хотя утрачена связь с Шекспиром).

216. «звук рогов» — цитата из нашей классики, подобно тому как у Элиота полустепище из ренессансной поэмы Day, «Parliament of Bees», где описывается охота Актеона. Вася Свинкин — проекция на русскую действительность гориллоподобного и вульгарного Суини (Sweeney), персонажа многих стихов Элиота.

217-219. Строки про бордель у Элиота взяты из австралийской солдатской песни времен первой мировой войны. За отсутствием похожей песни в России (но бордели появились), пришлось ограничиться почти буквальным переводом. «Ножки» — Пушкин.

220. Цитата из поэмы «Парцифаль» (снова легенда о Граале!) символиста Поля Верлена: «О эти детские голоса, поющие в куполе [церкви]»

221-24. Возвращение к теме Филомелы, изнасилованной Тереем. Звукоподражательное воспроизведение соловьиного пения Элиотом намекает также на механичность сексуального акта, осуществляемого насильником-варваром. «Чики-чики» — вариант звукоподражания и одновременно эвфемизм, обозначающий копуляцию (переводчику приходилось слышать такое словоупотребление в 80-е годы).

226. Невский вместо «City».

229. *Изюм предлагался по цене «себестоимость, страховка и гоставка в Лондон» [«cost, insurance and freight» — c.i.f.]; и Bill of Lading и пр. должны были быть вручены покупателю по оплате векселя на предъявителя — Э.*

Понятие с.и.ф. хорошо известно современным российским коммерсантам.

231. «Демотический» — простонародный, обычно в связи с диалектами греческого языка. Напоминание, что в поэме перемешаны обломки всех времен.

231-232. «...в ресторане на Пушкинской ... в Метрополе». У Элиота «luncheon at the Cannon Street Hotel followed by a weekend at the Metropole», т.е. «ленч в отеле на Пушечной Улице за которым следу-

ет уикэнда в Метрополе». Метрополь есть и в Петербурге и в Лондоне, Пушкинская (как называют Большую Пушкинскую улицу) — в Петербурге.

236-237. В оригинале здесь цитат нет. Тем не менее, как и в случае с цитатой из Тютчева ранее, мы сочли себя вправе напомнить о цитатном построении поэмы. Стилистически цитаты оправданы: оригинал резко ироничен; кроме того, мы сохраняем метафору. (У Элиота: «when the human engine waits Like a taxi throbbing waiting», т.е. «когда человеческий мотор ждет, подобно такси, дрожащему в ожидании»). Напомним, каково происхождение наших цитат: «сердца пламенный мотор», ср. «Нам Сталин дал стальные руки — крылья, А вместо сердца — пламенный мотор». (знаменитый «Марш Авиаторов»), «возле парадного подъезда» отсылает к циклу Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

238. Тиресий, хотя и простой наблюдатель, а не настоящий «характер», является все же самым важным персонажем в поэме, объединяющим всех остальных. Точно так же, как одноглазый торговец, продавец изюма, переливается в Финикийского Моряка, а последний не полностью отличается от Фердинанда, Принца Неаполитанского (из «Бури»), так и все женщины суть одна женщина, и два пола соединяются в Тиресии. Что ВИДИТ Тиресий на деле есть субстанция поэмы. Весь отрывок из Овидия представляет большой культурологический интерес:

«... Cum Iunone iocos et „maior vestra profecto est
Quam, quae contingit maribus“, dixisse, „voluptas“.
Illa negat; placuit quae sit sententia docti
Quarere Tiresiae: venus huic erat utraque nota.
Nam duo magnorum viridi coentia silva
Corpora serpentum baculi violaverat ictu
Deque viro factus, mirabile, femina septem
Egerat autumnos; octavo rursus eosdem
Vidit et „est vestrae si tanta potentia plagae“,
dixit „ut auctoris sortem in contraria mutet,
Nunc quoque vos feriam! „percussis anguibus isdem
Forma prior rediit genetivaque venit imago.
Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa
Dicta Iovis firmat; gravius Saturnia iusto
Nec pro materia fertur doluisse suique
Iudicus aeterna damnavit lumina nocte,
At pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam
Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto
Scire futura dedit poenamque levavit honore». — Э.

Русский перевод:

Со своею Юноною праздной
тешился вольно и ей говорил: «Наслаждение ваше
Женское, слаще того, что нам, мужам, достается».
Та отрицает. И вот захотели, чтоб мудрый Тиресий
Высказал мнение свое: он любовь знал и ту и другую.
Ибо в зеленом лесу однажды он тело огромных
Совокупившихся змей поразил ударом дубины.
И из мужчины вдруг стал — удивительно! — женщиной, целых
Семь так прожил он лет; на восьмое же, снова увидев
Змей тех самых, сказал: «Коль ваши так мощны укусы,
Что пострадавший от них превращается в новую форму,
Вас я опять поражу!» И лишь он их ударил, как прежний
Вид возвращен был ему, и принял он образ врожденный.

Этот Тиресий, судьей привлеченный к шутливому спору,
 Дал подтверждение словам Юпитера. Дочь же Сатурна,
 Как говорят, огорчилась сильнее, чем стоило дело,
 И наказала судью — очей нескончаемой ночью.
 А всемогущий отец — затем, что свершенное богом
 Не уничтожит и бог, — ему за лишение света
 Ведать грядущее дал, облегчив наказание почетом.

(Перевод С. В. Шервинского)

242-244. У Элиота намек на Сапфо, который нам не удалось передать. Он пишет, что имел в виду «прибрежного» или «дорийского» рыбака, возвращающегося домой с закатом. Все является символом всего...

245. У Элиота машинистка, что звучало бы архаично.

254-258. Перевод, близкий к духу оригинала, стал возможен только в связи с капиталистическими реформами в России. Отсюда выбор названий для коммерческих организаций. «Псковский миллионер» (т.е. из «скобарей») соответствует, относительно Петербурга, «Bradford millionaire» оригинала. (ср. также «Деревенскую девку-соседку Не узнает веселый скобарь», Ахматова, «Поэма без героя».)

277. «Зачем вы девушки...» У Элиота «When lovely woman stoops to folly and» — цитируется песня из «Векфильдского священника» Голдсмита (одна из дочерей священника соблазнена и покинута). Чтобы понять смысл цитаты, надо помнить роман, где все семейство бедного деревенского священника являет образец взаимной любви и поддержки перед лицом трудных обстоятельств, и принять во внимание контраст ситуаций. Наша цитата из известной песни соответствует по своей роли.

281-330. Возможно, самый спорный отрывок перевода. В этих строках на избранные нами принципы ложится наибольшая нагрузка. (В английском тексте это ст. 258-306.)

281. В английском тексте — снова цитата из «Бури». Мы переводим по тексту. Комментария, однако, требует перевод отрывка в целом.

281-288. В английском тексте отрывок играет очень важную роль. Приведем его полностью.

«This musik crept by me upon the waters»
 And along the Strand, up Queen Victoria Street.
 O City city, I can sometimes hear
 Beside a public bar in Lower Thames Street,
 The pleasant whining of a mandoline
 And a clatter and a chatter from within
 Where fishermen lounge at noon: where the walls
 Of Magnus Martyr hold
 Inexplicable splendour of Ionian white and gold».

В прозаическом переводе:

Ко мне та музыка подкралась по воде
 И вдоль Стренда, по улице Королевы Виктории.
 О Сити город, я могу порою слышать
 За общим баром на Нижней Темзовой улице,
 Приятное нытье мандолины
 И стук и шум разговоров, доносящийся изнутри,
 Где рыбаки перекусывают в полдень: где стены

Церкви Магнуса Мученика хранят
Необъяснимое сияние Ионийской белизны и золота.

Как уже отмечалось, в поэме постоянно соседствуют различные временные, символические, культурные планы. До сих пор сопоставление раз за разом оказывалось не в пользу «здесь и теперь» — настоящего времени, подчеркивая его пустоту и распад. И вот неожиданно, буквально на несколько строк, приоткрывается иное — под покровом настоящего, приглушенная линия преемственности и надежды. Обыденное, оказывается, открыто чуду («Буря»), морю (с ним приходят все его символические значения) через людей (рыбаки), а скромно выглядящая снаружи церковь св. Магнуса Мученика (похоже, ни один из переводчиков на русский прежде ее не видел) скрывает один из удивительных интерьеров, созданных современником Ньютона, архитектором и астрономом, сэром Кристофером Реном (более известен его же лондонский собор св. Павла), который в свою очередь хранит сияние древней Ионии, т.е. «греческого чуда».

«Интерьер св. Магнуса Мученика является, на мой взгляд, одним из лучших среди интерьеров Рена». — Э.

Элиот ссылается (иронически?) на книгу под названием «Предложение о сносе девятнадцати городских церквей».

Мы попытались сохранить эту сложную комбинацию смыслов. «Здесь и теперь», в переводе Петербург, нельзя было сменить. Баров для рыбаков в Петербурге нет, однако массовая ловля корюшки весной происходила. Многие помнят продажу прямо на набережных. Таким образом, получается соответствие рыбакам Элиота. Петербург менее тесно связан с морем, чем Лондон, Россия — менее, чем Британия, отсюда «мореплаватели и ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ» нашего перевода (требовалось подчеркнуть открытость в «большой мир», ср. с эпохой географических открытий для Англии). «Хрип гармоники» с некоторой поправкой на специфику страны соответствует нитью мандолины, но мы также позволили себе намек на «Поэму без героя» Ахматовой («Безногий поет моряк»). Строчка Ахматовой намекает на Цусиму (тема проигранной битвы). Увы, материального аналога церкви Магнуса Мученика нам найти не удалось — отсюда выбор «Софии КИТЕЖСКОЙ», которая указывает на дотатарский период Руси, и через эту Русь, столь близкую Византии, на Грецию.

289-330. *«Песнь (трех) дочерей Темзы начинается здесь. Со строки 292 до 306 включительно (313-329 у нас) они говорят по очереди. Ср. «Gotterdammerung», III, i, дочери Рейна». — Э.*

Мы заменяем дочерей Темзы на дочерей Невы, как Элиот заменил дочерей Рейна из «Гибели Богов» Вагнера на дочерей Темзы, и меняем топографические детали.

294. «Красного паруса взлет». В оригинале тоже есть «красные паруса», которые, согласно современным комментаторам, намекают на произведения Дж. Конрада. То же стилистическое поле, что и наш А. Грин.

297. «Заячий остров» — остров, на котором находится Петропавловская крепость. (У Элиота — «the Isle of Dogs» — Собачий остров на Темзе.)

303-310. *«Ср. Froude, Elisabeth, т. I, гл. iv, письмо испанского посла ге Куагры Филиппу II Испанскому. „После полудня мы были на барже,*

наблюдая игры на реке. [Королева] была одна со мной и графом Робертом на корме, когда они начали болтать челуху и зашли так далеко, что лорд Роберт наконец сказал, прямо при мне, что нет никаких причин, почему бы им не пожениться, если королева этого желает». — Э. Оригинал отсылает к одному из эпизодов елизаветинской эпохи в Англии, героической эпохи английской нации, надолго определившей ее судьбу. Быть может, стоит напомнить, что Елизавета умерла бездетной. Мы позволили себе близкую по символическому значению замену эпизодом из Петровской эпохи. Как и более ранние, отрывок полон морской символики, что также, на наш взгляд, оправдывает выбор соответствия. У Элиота есть еще намеки на историю Антония и Клеопатры, что ж, при Петре римскую символику очень уважали. К сожалению, символика ЖЕНСКИХ судеб оказывается утраченной, но единственная альтернатива — выбор Екатерины Великой, в данном контексте едва ли подходила.

301-2, 311-12, 330. У Элиота — чисто звуковые строчки, подготавливающие три последующих (горько-гротескных) монолога, пародирующих арии дочерей Рейна из «Гибели Богов». В моноспектакле по поэме (Париж, апрель 1996) Фиона Шоу исполняла их как оперные фьоритурь.

313-329. Три монолога дочерей Невы (соответствующих дочерям Рейна, подобно дочерям Темзы у Элиота). Лондонские реалии замещаются на Петербургские.

314. ср. «Чистилище» Данте, V, 133:
 «Ricorditi di me, che son la Pia;
 Siena mi fe, disfesemmi Maremma». — Э.

В переводе Лозинского:

«Ты вспомни также обо мне, о Пии,
 Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла».

Наш текст, с петербургскими реалиями, в таком же отношении к тексту Данте, как текст Элиота (с Лондонскими).

331. Из «Исповеди» бл. Августина: «Я прибыл в Карфаген: кругом меня котлом кипела позорная любовь». (Августин А. «Исповедь». Пер. с лат. М. Е. Сергиенко. — М., изд. «Ренессанс», 1991.)

332. Из «Огненной Проповеди» Будды.

333. Снова из «Исповеди» Августина. Соединение этих двух представителей восточного и западного аскетизма, будучи кульминацией этой части поэмы, не является случайным. — Э.

Часть 4

343. В оригинале «Gentile or Jew». «Jew», «еврей», метонимически обозначение любого из «народов Писания». Ср. у ап. Павла: «... ни Иудея нет, ни Эллина».

Часть 5

В первой части Части 5 используются три темы: путешествие в Эммаус, приближение к «Опасной Часовне» (см. книгу Мисс Уэстон [О Граале — С. С.]), и современный развал в восточной Европе. — Э.

Перевод этой части почти полностью укладывается в традиционные рамки.

349. «Камнем одетых» — использованы слова Екатерины Великой («Одет камнем...») Их можно и сейчас прочесть на бастионах Петропавловской крепости.

379. «*Это Turdus aonalaschkae palasii, грозг-отшельник, которого я слышал в провинции Квебек Шарпан говорит („Handbook of Birds of Eastern North America“), что „его дом в наибольшей мере пустынные леса и густые кустарники. ...Его песни не отличаются разнообразием, однако несравненно по чистоте и нежности тона и красоте модуляций“.* Его „лесня капающей воды“ пользуется заслуженной славой». — Э.

383-389. Последующие строки были навеяны отчетом одной из Антарктических экспедиций (я забыл, которой, но думаю, что Шекелтона): сообщалось, что исследовательская партия, полностью сохранявшая силы, имела постоянно иллюзию, будто в ней одним человеком больше, чем показывали подсчеты. — Э. Данное примечание Элиота отдает издевательством — ранее он говорил о путешествии Иисуса с учениками в Эммаус, с которым связывается в Евангелии подобный феномен.

390-400. Ср. Герман Гецце, *Blick ins Chaos*: «*Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbe Osten Europas auf dem Wege zum Chaos, fährt betrunken im heiligen Wahn am Abgrund entlang und singt dazu, singt betrunken und hymnisch wie Dmitri Karamazoff sang. Veber diese Lieder lacht der Burger beleidigt, der Heilige und Seher hort sie mit Tranen*». — Э.

409-411. Линия Грааля передана линией Китежа. Образ ПЕРЕСОХШЕГО озера, вполне отвечая основной теме поэмы, возможно, компенсирует относительную слабость темы Китежа по сравнению с Граалем (при сопоставлении ее разработки в русской культуре с темой Грааля на Западе).

425. «*Datta, dayadhvam, damyata*» (Давать, сочувствовать, управлять.) Прегание о значении Грома находится в *Brihadaranyaka-Upanishad* 5, 1. — Э.

431. Ср. Webster, Белый Дьявол, V, VI. «*They'll remarry Ere the worm pierce your winding-sheet, ere the spider Make a thin curtain for your epitaphs*». — Э.

По-русски: «...они поженятся

Раньше чем червь успеет проесть ваш саван, раньше чем паук Успеет соткать тонкую завесу для ваших эпитафий».

435. Ср. *Inferno*, XXXIII, 46: «*ed io senti chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre*». — Э.

(Перевод Лозинского, «Ад»:

«И вдруг я слышу — забивают вход Ужасной башни...»)

Также Ф. Н. Bradley (научный руководитель Элиота во время изучения им философий): «*Мои внешние ощущения не в меньшей мере являются моей собственностью, чем мои мысли или чувства. В обоих случаях мой опыт попадает внутрь моего собственного круга, круга, закрытого для внешнего мира; и, подобно всем ее элементам, каждая сфера непрозрачна для других, которые ее окружают... Короче, рассматриваемый как существование, которое появляется в душе, мир в целом есть для каждого из нас нечто особенное и принадлежащее только этой душе*». — Э.

450. «На берегу пустынных волн...». Элиот ссылается в этом месте на главу о Короле-Рыбаке из книги Jessie L. Weston «From Ritual to Romance», где говорится о Граале. Перевод — ср. «Медный Всадник».

453. В оригинале строчка из песенки «London bridge is falling down...».

454. «Чистилище», XXVI, 148: «*Ara vos prec per aquela valor
que vos guida al som de l'escalina,
sovenna vos a temps de ma dolor.
Poi s'ascose nel foco che gli affina.* — Э.

В переводе Лозинского:

«Он просит вас, затем, что одному
Вам невозбранна горная вершина
Не забывать, как тягостно ему!»
И скрылся там, где скверну жжет пучина.

455. Строка из сборника песен позднеантичного периода. В переводе «когда я буду как ласточка», при этом в латинский текст вкраплено греческое слово «келидон», ласточка.

456. Из знаменитого сонета Жерара де Нерваля «El Desdichado»; название означает «лишенный наследства». Сама процитированная строчка говорит об историческом принце Аквитанском, который был лишен наследства («башни») и об утрате высокого достоинства (башня — также в гербе); цитата, кроме того, указывает на судьбу самого Нерваля, одного из лучших французских поэтов XIX века, первого переводчика «Фауста» на французский язык и ярчайшего представителя так называемых «проклятых» (страдая от душевной болезни, он повесился на решетке сада).

458. В оригинале — цитата из «Испанской Трагедии» Кида (Kyd): «Hieronimo's mad againe», «Иеронимо снова безумен». В пьесе Кида, менее известной, чем «Гамлет», герой притворяется безумным, чтобы выполнить свою миссию вопреки козням злодеев. Ближайшим аналогом в контексте русской культуры мы сочли князя Мышкина в сочетаниями с Поприциным из «Записок Сумасшедшего».

460. Заключительные слова «Упанишад».

С. В. С.

Уоллес Стивенс

ВОСКРЕСНОЕ УТРО

1

Блаженство пеньюара, поздний кофе
И апельсины, солнечное кресло,
Зеленая свобода какаду —
Смешались на ковре, чтоб растворить
Священное безмолвье древних жертв.
Она чуть грезит, чуя темный ход,
Наплыв былой беды, покуда тьма
Сгущается средь водяных огней.
Дух цитруса и зелень ярких крыл
Подобны шествию усопших чрез
Беззвучное пространство вод. И день
Тих, как беззвучное пространство вод.
Он — путь ее сновидящим ногам
К безмолвной Палестине, за моря,
Где царство крови и могильный мрак.

II

Зачем ей мертвых одарять своим
Богатством? Неужели божество
Является лишь в грезах и тенях?
Иль не найти ей в солнечной тиши,
В огне плодов и зелени крыла,
В любом земном соблазне и красе
Соперника тоске по небесам?
Пусть божество пребудет в ней самой:
В страстях дождя, в падении снегов,
В печали одиночества, живом
Восторге рощ в апреле, всплеске чувств
В сырую осень на ночном пути,
Меж радостью и мукой, находя
Лист лета или голый зимний сук —
Все это суждено ее душе.

III

Юпитер нелюдски рожден меж туч.
Не вскормлен матерью, и нет земли,
Расшевелившей миф его ума.
Он жил меж нами, как ворчливый царь,
Блистательный, меж низшими себя,
Пока непуганая наша кровь
В соитье с небом нам не воздала
Так, что и низший различил, в звезде.
Умрет ли наша кровь? Или она
Нам будет кровью рая? И земля
Таким ли раем воплотится нам?
Добрее станет небо, чем сейчас,
В котором пот труда и наша боль,
И ровень вечной нежности взойдет,
Не нынешней немой голубизне.

IV

«Я рада птицам», — говорит она, —
«Проснувшимся, но прежде, чем они
В поля пылливый устремят полет;
Но вот их нет, их теплые поля
Не возвратить — и где же этот рай?»
Нам нет ни таинства пророчеств, ни
Химер могильных, или золотых
Подземных гротов, или островов
Гармонии, куда пристанет дух,
Ни сказочного юта, или пальм
На склоне неба, чтоб могли пребыть,
Как зелень рощ в апреле, или как
В ней этот образ пробужденных птиц,
Мечта о вечере, что увенчал
Июнь касаньем ласточкиных крыл.

V

«Но и в покое», — говорит она, —
«Мне важен вечной радости залог».
Смерть — мать красоты; она одна
Пошлет нам исполнение наших снов
И наших грез. Пускай она листвою
Забвения нам осыпает путь,
Путь злых скорбей, и многие пути,
Где пела медь триумфа, и любовь
Нашептывала нежные слова,

Она в жару повергнет иву в дрожь
За прежних дев, привыкших здесь глядеть
В траву, что их стопам обречена.
И мальчиков влечет слагать плоды
На брошенное блюдо. Надкусив,
Проходят девы пылко в листопад.

VI

Как знать, что смерть заменит нам в раю?
Падет ли спелый плод? Или вовек
В хрустальном небе тяготеет ветвь,
Без перемен, но смертной же сродни
Земле, с течением тех же рек в моря,
Которых не найти, вдоль берегов,
Без тени боли тающих вдаль?
Что шелест яблонь этим берегам,
На что им слив тончайший аромат?
К чему, увя, здесь краски наших дней,
Послеполуденный дремотный шелк
И наших пресных лютен перебор!
Смерть — таинство и мать красоты,
В чьем знойном лоне различаем мы
Земных, бессонных наших матерей.

VII

Проворный, буйный хоровод людей
Начнет напев в восторге летних зорь.
Их шальный гимн светилу этих дней.
Не богу их, но как бы божеству
Меж них нагому, праотцу живых.
Напевом рая будет их напев,
Из крови, возвращенной небесам.
И в их напев начнут вплетать свои
Рябь озера, зеркало божества,
Деревья-Серафимы и холмы,
Чей хор не молкнет до исхода дня.
Поймут они небесное родство
Подвластных смерти душ и летних зорь.
Изобличит, откуда и куда
Они идут, роса на их ступнях.

VIII

И слышен ей среди беззвучных вод
Звонящий глас: «Тот палестинский склеп —

Не духов притаившихся врата,
Там Иисус в могиле погребен».
Нас ввергли в древний солнечный хаос,
Старинный навек смены ночи днем,
В забвенье нежилого островка,
Среди безбрежных, безысходных вод.
В горах олени бродят, и о нас
Звенит кругом перепелиный свист;
Неслышно зреют ягоды в лесу;
И в одиночестве небесных недр
Под вечер чертят стаи голубей
Неясные зигзаги, уходя
Вниз, в темень, на раскинутых крылах.

Перевод с английского Алексея Цветкова

Богумил Грабал

Он называл их так: «пан Ясперс», «пан Элиот». Мы тоже будем величать его не иначе, как «паном», «паном Грабалом»; наверное, так его окликали в пражских пивных — ведь он был не только истинным модернистом, одним из их великой плеяды «панов», от «пана Аполлинера» до «пана Бунюэля», но и истинным пражанином. «Пан Грабал», чешский прозаик и поэт Богумил Грабал, разбился 3 февраля 1997 года, выпав из окна пятого этажа. Свидетели утверждают, что он кормил голубей. Метрики утверждают, что ему было 83 года («пан Грабал» — ровесник «пана Кортасара» и «пана Бьой Касареса»). Дотошные литературные критики вспоминают эпитафию грабаловской книги «Vita Nuova»: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Интересно, что было суждено ему, выпавшему из окна?

Его то любили, то не любили. Сначала его любили чешские диссиденты, потом, после того, как он опять (после паузы, последовавшей за 68-м годом) стал печататься в официальных изданиях, разлюбили и даже устроили костер из его книг на берегу Влтавы. Власти его сначала явно не любили и не замечали, затем заметили и почти полюбили, пока, наконец, сами неожиданно не затерялись в синем бархате революции 1989 года. А «пан Грабал» остался — живым классиком, экспонатом литературного музея — так сейчас считают многие в Чехии. Может быть, для чехов, почти каждый из которых, по слухам, прочитал хоть строчку из Грабала, это справедливо. Но не для русского читателя.

Этот бодрый, интонационно раскрепощенный, наивно бесстыдный писатель мог бы впрыснуть пару кубиков бодрящего элексира в вялое, сексуально отталкивающее тело современной русской прозы. Его почти детская страсть к выдумкам, мистификациям, путаницам выглядит свежо на фоне как монотонной угрюмости русского «реализма», так и механического хохмачества русского «постмодернизма».

Кстати, о мистификациях. Если верить официальному извещению, «пан Грабая» умер в день, который никогда не настал — во вторник 3 февраля 1997 года. Можете свериться с календарем. А вдруг он так и не умер? Ведь написал же когда-то: «Всё, что у меня есть — это страх за мою жизнь, иначе я бы обернул мой маленький череп простыней и с улыбочкой на лице прострелил его».

Мария Мартинкова

ЗАБЕГАЛОВКА ПОД НАЗВАНИЕМ «МИР»

По стеклянной стене забегаловки стекали серебряные струйки вечернего дождя, по маленькой площади двигалось несколько, согнутых почти вдвое и придерживающих свои шляпы, прохожих.

А в забегаловку из отдельного зала на втором этаже доносилась весёлая музыка и разговор, переходящий в развязный хо-

хот. Буфетчица наполовину наполнила кружки вспененным пивом и пошла в уборную.

За дверью туалета, в метре от пола висели туфельки в дырочку, ноги в жёлто-красной клетчатой юбке, выше пиджачок с болтающимися руками и женской головой, склоненной почти к самому лацкану...

Девушка повесилась на пояске от плаща на оконной ручке.

«Ага», — сказала буфетчица и пошла за стремянкой. Одна из продавщиц приподняла повешенную, и буфетчица длинным колбасным ножом отрезала её. Потом перекинула девушку через плечо, унесла в чулан, положила на стол и расслабила пояс на шее повешенной.

Подняла глаза.

За стеклянной стеной забегаловки под дождём стоял мужчина и круглыми глазами, не отрываясь, смотрел на стол. Буфетчица задёрнула занавеску.

Потом приехала скорая.

Молодой доктор вбежал в забегаловку, пока двое санитаров вытаскивали из машины носилки. Доктор прижал ухо к девичьей груди, взял её кисть, отдёрнул занавеску и руками показал санитарам, что их помощь уже не нужна.

«Поздно», — сказал он.

«А нам что прикажете с ней делать?» — спросила буфетчица.

«Патологоанатомы приедут», — ответил врач.

«Так вот, пусть поскорее приезжают, мы тут кормим и поим клиентов».

«Ну, так закройте пока», — сказал врач, выбежал под дождь, и скорая с визгом уехала. А в забегаловку из отдельного зала на втором этаже доносилась весёлая музыка и разговор, переходящий в развязный хохот. За стеклянной стеной стояло несколько зевак, они прижимали руки к стеклу, и ладони их были белыми и неестественно большими. А над ладонями блестели любопытные глаза.

Потом к дверям подошёл высокий молодой человек. Насквозь промокший, с рукавами в штукатурке, он попробовал распахнуть дверь, но быстро сдался. Буфетчица отперла ему.

«Заходите, может, хоть развеселите меня», — сказала она и, когда он вошёл, всплеснула руками: «Вы что, под трамвай попали? Или в лужу свалились?»

«Ещё хуже, — сказал он. — От меня позавчера невеста сбегала».

Он тёр глаза грязными руками.

«А у вас что, невеста есть? Да я вас никогда с женщиной не видела», — спросила она, опуская пустые кружки в воду. Потом разлила пиво, поставила в маленький подъёмник за спиной, закрыла окошко и нажала на кнопку. Пиво уехало на второй этаж, в отдельный салон. Буфетчица взяла одну кружку и толкнула её по мокрому прилавку, кружка, проскользив, остановилась под рукой молодого человека.

Он отхлебнул пива. «Сбежала, — сказал он. — Мы кололи кужину чёрствый хлеб, и тут девчонка вспомнила, что она из хо-

рошей семьи. Взяла огромный складной нож и всадила его в дверь. Нож закрылся, и девка порезалась. Тут уж я бросился закрывать окно, чтобы она не выбросилась. Она только и мечтала, что о самоубийстве».

«Чёрствый хлеб кололи на ужин?» — удивлялась буфетчица.

«Ага. А ещё она хотела, чтобы мы убили себя вдвоём, — продолжал он. — Всё говорила: «Слушай, вот откроем окно, возьмёмся за руки и выбросимся». Так что мы подготовились, вымылись, в лучшей одежде стоим и смотрим в пропасть нашего двора, чтобы не прыгнуть на какого-нибудь ребёнка, и вдруг вижу — с первого этажа ужасно глупо торчит антенна, и если мы сейчас спрыгнем, то обязательно отрежем себе об антенну ухо или нос, вообще, изуродуемся». Молодой человек пил, и пиво текло по его жиденькой бородке.

«А вам не всё равно, как вы потом выглядеть будете?» — спросила буфетчица и сложила руки на груди. Она была прекрасна, как статуя на выставке достижений сельского хозяйства.

А в забегаловку из отдельного зала на втором этаже доносилась весёлая музыка и разговор, переходящий в развязный хохот.

«Я эстет, и этим всё сказано. Моей невесте было всё равно. Она уже однажды чуть не повесилась на поясе от своего плаща, еле откачал. А она кричала: «Идиот, зачем ты меня назад приволок, я уже была там!» А соседи колотили в дверь: «Чем вы там занимаетесь? У нас же дети!» А моя невеста кричала: «Я бы ваших детей прибила, а потом дом подожгла!» Я решил её утихомирить, взял за руку и за ногу и хотел раскрутить, но как-то не рассчитал, и девка головой пробилась дверь в коридор и сбила с ног соседку, смотревшую в замочную скважину. Тут моя невеста и говорит: „Сударыня, мы можем дома заниматься всем, чем захотим, так ведь, милый?“». Молодой человек улыбался, и воспалённые глаза его окаймляла краснота.

«Ну и дела, — сказала буфетчица. — Вы только посмотрите! Эта сволочь даже табуретки принесла!» Она налила себе пива, подошла к стеклянной стене, за которой под проливным дождём, перешёптываясь, стояли любопытные. Некоторые уже сидели на табуретках и прижимали ладони к стеклянной стене, как будто грелись о неё. У них был вид странных чудовищ.

Буфетчица отпила пива и выплеснула остаток на стеклянную стену. Пена заструилась по застеклённым портретам.

«Пражане», — сказала она и пожала плечами.

Она вернулась за стойку, налила пива и толкнула по прилавку очередную кружку, которая остановилась под рукой молодого человека.

«Мне вообще везёт... В прошлом году гуляю себе вдоль железной дороги, напротив идёт девка, тут подъезжает поезд, а девка возьми и прыгни под него, да так, что голова её скатывается мне под ноги, да ещё глазами моргает!»

Молодой человек сидел в задумчивости.

«Всё равно я от неё не отступлюсь. Даже если забыть обо всём остальном, то она прославила чешскую графику благодаря

своей фригидности. Была бы она нормальной бабой, ну и что? Ну было бы у нас всё своим путём, но от гениальной графики ничего бы не осталось».

Он поднял кружку, и пиво потекло ему за ворот.

А в забегаловку из отдельного зала на втором этаже доносились весёлая музыка и разговор, переходящий в развязный хохот. В маленьком подъёмнике вниз спускались подносы с засохшей пеной в пустых кружках.

«Она всё время жаловалась, что я псих, но какой же я псих, если я хожу на завод, и вот этими самыми руками черчу с точностью до сотой миллиметра фюзеляжи реактивных самолётов...»

«Нет, это уже невыносимо», — вышла из себя буфетчица.

Дюжина любопытных сидела теперь на качающихся ветвях и, как в трамвае, придерживалась руками и оттуда, с высоты птичьего полёта, смотрела поверх задёрнутой занавески в забегаловку, где на столе лежала повесившаяся.

«Ну, почему же я всё время в такие истории влипаю?» — пожаловалась буфетчица. «Вот иду я ночью по лесопарку, схожу с тропинки, шарю в кустах и вдруг беру кого-то за холодную руку. Чиркаю спичкой... повешенный мужик мне язык показывает. Ну и дождь сегодня!»

А в забегаловку из отдельного зала на втором этаже доносились весёлая музыка и разговор, переходящий в развязный хохот. Первой стала спускаться по лестнице невеста в белой фате, молодая, глаза её блестели от выпитого, она оборачивалась и вела вниз жениха. А друзья и подружки держались за поручни и наступали ей на шлейф. Невеста пела, отбивая такт свадебным букетом, потом выбежала за стеклянную стену, прокричала что-то любопытным и высочила под серебряные прутья дождя, раскинула руки, запрокинула голову. Её волосы и шляпка слиплись под дождём, вода очертила её прекрасное тело. Жених и гости радостно присоединились. «Весёлая свадьба, всё как надо. — сказала буфетчица. — Ваша невеста от вас вчера сбежала?»

«Нет, позавчера, — ответил он и протёр красный глаз. — Вообще-то её можно понять». К стеклянной двери подошла милиция.

«Ну, наконец-то», — сказала буфетчица. Милиционеры вошли и стали выливать воду из сапог. «Эти психи думают, что это кунсткамера, — показала она на любопытных, которые поутихи, хотя глаза их блестели от ожидания. — Нет, глаза бы мои их не видели! Зачем вообще такие люди? На казни смотреть?»

Потом она взглянула на младшего милиционера и удивилась: «Вы что, с фонарём встретились?» Милиционер вынул карманное зеркальце, посмотрел на синяк под глазом и сказал: «Корова лягнула».

Старшина добавил: «А что я тебе говорил? Не связывайся с пьяной свадьбой. Разговорчики, разговорчики, и в результате наш молодой друг заработал фонарь от жениха».

«Ничего, зато я его забрал, посидит ночь, отдохнёт», — ответил молодой, ощупывая бровь.

Буфетчица отдернула занавеску. Стеклянная стена была полна белых ладоней, те, кто стояли сзади, опирались ладонями о спины передних, несколько любопытных висело на фонарях, а какой-то дедушка висел в кроне липы, как павиан.

Молодой милиционер вытащил записную книжку и поправил кусок копирки.

Буфетчица, проаживаясь вдоль стены, сквозь зубы плюнула в лицо какому-то зеваке, но тот даже не шелохнулся, и плевков стекал по стеклянной стене как молочная слеза.

«Я, что, отца цепью прибила?» — закричала буфетчица, ткнула согнутым пальцем в лоб другого зеваку и в сердцах ушла в заднюю комнату.

«Это хорошо, что вы пришли, — сказал старшина. — Растегните ей блузку. У этой девки нет никаких документов и какая-то мелочь...» Тут к стеклянной двери сквозь толпу прорвалась невеста и робко постучала. Молодой человек отпер.

Невеста вошла, сняла серебряную туфельку и вылила из неё воду. Свадебная шляпка и подведённые глаза потекли.

«Ну как? — спросила она. — Выпустите вы его или не выпускайте?»

«Не выпущу», — сказал милиционер.

«Это почему же?»

«Он меня оскорбил при исполнении».

«Да ведь у вас там и нет ничего», — сказала невеста и отпила из-под крана, из которого всё время текло.

«У меня синяк как копирка», — сказал милиционер, глядя в карманное зеркальце.

«Не надо было к нам приставать. Сами начали. Вот теперь сами до конца и доводите. Так когда вы его выпустите?»

«Завтра».

«Ну тогда я вас подожду, и вы со мной спать будете, я свою свадебную ночь одна не проведу».

«Вы не в моём вкусе», — сказал милиционер и встал.

«Ох ты, господи, как будто других не найдётся», — воскликнула невеста, развернулась как в вальсе и обратилась к молодому человеку. «А вы что скажете? Вам я нравлюсь?»

«Нравится», — ответил он. — Вы на мою девушку похожи, ту, что от меня сбежала. У вас такое же лицо, какое у неё было, когда она в подвал ко мне в первый раз прибежала, с чемоданчиком, в такой девочки кукол прячут, тоже почти босая, в туфельках в дырочку, волосы обстриженные как у девочек в исправительном доме. И ещё у вас такие же синие брызги в глазах, как осколок халцедона. Вы мне нравитесь, вы в моём вкусе».

«И вы мне нравитесь», — сказала невеста, налила в серебряный башмачок воды и со вкусом напилась.

«О вкусах не спорят», — сказала она и причмокнула.

Молодой милиционер сел, и старшина начал диктовать.

«Неизвестная, ростом 160 сантиметров, одета в жёлто-красный клетчатый костюм. На ногах чёрные туфли в дырочку. Розовая блузка украшена кружевным воротничком, кончики воротничка в розочках...»

Младший милиционер встал и пошёл закрывать дверь, через которую молодой человек с невестой ушли в бисер вечернего дождя. Потом опять сел, чтобы писать под диктовку старшины. А потом приехали патологоанатомы.

«Когда ко мне моя девчонка в первый раз прибежала», — сказал молодой человек. «Не слышу!» — кричала невеста, и ветер уносил слова с её губ.

«Моя девчонка, — кричал он ей в ухо, — когда она ко мне в первый раз прибежала, я как раз доделал посмертную маску друга. Так вот она тоже захотела посмертную маску, что, мол, она потом другую жизнь начнёт. Я её положил на стол, намазал вазелином, в нос сунул трубочки из газеты и вылил на лицо жидкий гипс. На шее у неё было полотенце как после убийства, и я держал её за руку и чувствовал сейсмологическую запись её сердца...»

«Как красиво!» — крикнула невеста, и ветер сорвал её шляпку и унёс в чёрное небо.

Потом молодой человек остановился и посмотрел на парк, освещенный уличными фонарями. Ветер отвязал молодые тополя от жердей, и они сгибались так, что ветви полоскались в лужах.

«Подержите это деревце», — прокричал молодой человек, сорвал галстук и крепко подвязал ствол.

«Какое вам дело до этих деревьев?» — кричала она.

«Да держите же как следует!»

«Я спрашиваю, какое вам до них дело?»

«Они могут сломаться!»

«Ну и пусть ломаются! Вам-то что?»

«Эти общественные деревца принадлежат мне так же, как то, что я думаю и делаю, принадлежит общественности. Я, милая моя барышня, уже такое же общественное достоиние, как общественный туалет, как общественный парк».

Он кричал и срывал с невесты мокрый и грязный шлейф и резкими движениями, как будто дирижируя оркестром, разрывал шёлк на полосы, из которых сплетал верёвки.

«А когда гипс затвердел, — кричал он, — мы не могли его снять, хоть молотком стучи. Так что мне пришлось остричь ей волосы до половины черепа, и это нас сблизило. А она сказала, что с этой посмертной маски начинается новая жизнь. Три дня она мне исповедовалась, я от этих исповедей бился головой о стену. И она так долго изливала мне эту чернуху, пока не стала совсем белой. Ещё платье есть? Верёвки кончились!»

«Рвите в своё удовольствие», — сказала она и подставила плечико.

Он ухватился за него и мощным рывком, каким ломаются ветки, одним махом сорвал с неё остатки свадебного платья.

Сверкнула молния и осветила полуголую невесту в общественном парке.

«Послушайте, — сказала она, — сделайте мне тоже посмертную маску!»

ОДНАЖДЫ НА ОСТРОВЕ КАПРИ

Мы с Зузаной сидим перед гостиницей, комната здесь стоит семьсот долларов в день... и вдруг вижу — вон там под парасолькой перед гостиницей, со своей молодой женой сидит лауреат Нобелевской премии Бродский.... нарочито бедно одет, не без элегантности... я не удержался, подошёл к нему и говорю: господин Бродский, спасибо, мол, за Вашу статью в итальянском «Эспрессо», где вы сказали, что идеальная граница между Востоком и Западом, между Европой и Азией проходит по реке Эльбе... Господин Бродский, ведь это именно так и есть! В конце второй мировой войны — где встретились американские и советские солдаты? На Эльбе! И я поклонился его молодой жене, извинился и вернулся к своему столику со своим воспалением лёгких и плевритом. Но теперь не удержался Иосиф, в свою очередь подошёл к моему столику, и мы продолжили наш разговор о России, откуда он эмигрировал на Запад, где и живёт... Из Союза он не принял даже Владимира Высоцкого, качал отрицательно головой, когда я описывал то, что видел в Москве, поклонение поэту, гитаристу и актёру Высоцкому, он и этого не принял... И ещё я начал про Сережу Есенина... Рассея моя, Рассея, азиатская сторона... А у Бродского были прекраснейшие глаза, я тонул в них, в глазах прекрасной девушки-еврейки... Но, господин Иосиф Бродский, вот вы говорите, что река Эльба — это граница между Востоком и Западом... ну почему же я до этого не додумался! Немецкая философия действительно начинается только за Эльбой. Шопенгауер родился в Данциге, и Иммануил Кант... и Фихте и Гегель из Берлина — а оттуда до Эльбы рукой подать... Господин Бродский, Ницше же тоже гордится тем, что его мать была полька... Вы говорите, что тот край, где вы жили, Россию, считаете Азией, что её часто называют Евразией... А мой Сережа Есенин... Рассея моя, край мой азиатский... Рассея!.. Господин Бродский, господин Бродский, ведь я живу в сердце Европы, почти все мои друзья и мои учителя большевики, мы живём в пивных, такие вот у нас университеты, я живу в обществе, которое вселяет в меня ужас, я имею в виду ужас перед теми коммунистами, которые не относятся к числу моих друзей, с которыми я вынужден встречаться как рядовой гражданин, которые принуждают тех, кто против, к внешней и внутренней эмиграции, как и вы вынуждены были эмигрировать... но мои приятели коммунисты говорят со мной о том, что происходит в мире литературы, политики и философии, мы пьём пиво и умеем смеяться и зовём друг друга по имени, иногда даже уменьшительными именами называем, и при этом не хотим жить нигде больше, кроме как в этом ужасе и страхе, в этом маразме, в котором мы живём... Конечно, вы именно это и сказали журналу «Эспрессо»... На Востоке существует что-то, что можно назвать негативным восприятием действительности: мы принимаем действительность, в которой живём, хоть она и неприемлема... Господин Бродский, это

мой образ жизни, мой стиль писать... как битники... быть на дне, но всё равно смотреть вверх...

Вот так мы и сидели с господином Бродским, лауреатом Нобелевской премии, под parasолькой, и я сказал... Господин Бродский, в «Эспрессо» вы сказали, что лучший выход для человека с Востока — это во всём видеть «божественное провидение». Способность принимать жизнь вместе с тем, что достойно осуждения... достаточно разогреть сердце... разбудить собственное чувство бесконечности... Господин Иосиф Бродский, за эту пару предложений я расскажу вам один еврейский анекдот, один из тех, которые записал сам Сальция Ландманн... Стоят трое на вокзале в Леберке. Первый говорит: Вы слышали? Хон Райф продал лес и потерял на этом триста тысяч злотых! Другой говорит: Те те те, триста тысяч? Это уже не безделица! А третий говорит: Всё конечно так... Если учесть три безделицы. Речь идёт не о Хоне Райфе, а о самом Гросе Броском, во-вторых он не лес продал, а две улицы в Киеве купил. И в-третьих он не триста тысяч потерял, а целый миллион злотых заработал... Господин Бродский, я завидую вам, что у вас есть ваши прославленные предки в Галиции, я правда вам всем сердцем завидую... Этого достаточно, чтобы разогреть моё сердце и разбудить во мне чувство бесконечности...

Господин Бродский, вы получили Гран-премию острова Капри в области поэзии, я получил Большую премию в области прозы... в четверг во второй половине дня мы читали наши тексты в Неаполе, в Суор Орсола, храме Ангелов, в этом многостенном монастыре с десятками часовен и трапезных... а у меня в понедельник было воспаление лёгких и плеврит, температура 39, но я хотел присутствовать на вашем чтении... я просил, чтобы мне позволили читать первому, так что я и читал наконец первый... а я, когда хочу, то тоже умею читать, и я читал так, что сотни слушателей замерли... *Adagio lamentoso*... монтаж, который я посвятил Кафке... перед чтением я выпил две стопки водки «Горбачев»... а потом профессора рассуждали о моей поэтике, а потом пришёл ваш черёд, о вас тоже сначала полчаса болтали, я сидел за длинным столом у алтаря, играл пальцами на эбеновой поверхности стола «Сказки Венского леса» так, как я играл их раньше в пивной «Под Мостом» в городе Нибурке... а вы карандашом рисовали в программке какие-то фигуры, в тетрадке вашей молоденькой жены Марии, чтобы отвлечь внимание от того, что и она будет читать свои стихи... А потом вы читали... и ваш гулкий голос загремел в храме Ангелов как орган... ваш русский голос раздавался как голос диакона в православном храме, вы стояли на кафедре и легко покачивались, как покачиваются равнины, когда могучим голосом вычитывают из талмуда этот могучий поток еврейской религиозной информации, ваш голос гремел неумоимо как страшный суд, я не говорю по-русски, но не только я, но все, кто слушал, были возбуждены музыкальностью последней токкаты фуги д-моль, ведь именно так поднимался и опять опускался ваш голос в храме Ангелов, в Суор Орсола, в вашем

голосе был не только суд, который осудил вас в Советском Союзе, но и ваше благородное упорство, с которым вы добивались эмиграции и эмигрировали... и даже если бы не было никаких других причин, то хотя бы для того, чтобы в Неаполе как лауреат Нобелевской премии прочитать на родном языке те стихи, которые вы прочитали... немного сгорбленный, с синими глазами, с аурой высокого лба и могучим голосом, как у раввина в Бухаресте... а потом читала свои стихи ваша жена Мария, высокая девушка, я уже забыл на каком языке она читала эти потоки мелких и прекрасных слов... только помню, что вместо очередного абзаца поэтесса разразилась искренними слезами... чтобы затем продолжить до следующего и следующего приступа слёз, который заглушил стихи... и даже эти слёзы и плач были частью стихов, которые нежно, как бисер, текли из девичьих уст... и слушатели были тронуты и когда поэтесса кланялась, то вы, господин Бродский, утешали её, улыбались, поэтесса была на голову выше вас, но в этот момент вы, утешитель, переросли не только поэтессу, но и самого себя и всё пространство Суор Орсола и весь Неаполь...

Это случилось однажды на острове Капри...

ИЗ РАССКАЗА «ТРЕХНОГИЙ КОНЬ НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ»

...я люблю негров и вообще цветных, они умеют крикливо одеваться, умеют красиво ходить, когда они проходят по улицам Праги, то улицы оживают, я думаю, что без негров Америка не была бы Америкой... Да ещё спортсмены, и музыканты, и певцы! Они так же не милы в Америке, как и в Праге и даже, можете мне не верить, я люблю в Праге вьетнамцев, они умеют ходить так, как будто они только что приехали из Штатов, они умеют так одеться... и потом, у них такие фигурки, как у принцесс и танцоров... у них есть вкус, и они украшают Прагу так же, как Америку негры... Я прошу прощения у цыган, я, четверть века проживший в пражском цыганском районе. В моих текстах это всегда герои, героини... я знаю, у них тоже есть некоторые недостатки, как и у негров в Америке... у них бывают стрессовые настроения и ситуации, они подвержены болезням, инфарктам, не очень любят работать... а знаете, что я вчера здесь в Америке слышал и что меня порадовало? Если негритянский папочка покинет пятерых детей, то самый старший купит револьвер и застрелит папочку... И так и должно быть, друзья мои... Я думаю, что здесь в Вашингтоне слышно мало стрельбы... И при этом каждый негр и цыган склонен играть на скрипке, не зная нот, и у детей их красивейшие глаза. А такие заглавные жизненные моменты, как рождение, смерть, свадьбы и праздники, они умеют праздновать сакрально, как дети, и притом цыгане не ездят на дачи, так как их у них нет, субботу и воскресенье они прово-

дят в городе, как негры. Пиф паф! И папочка, который покинул маму с детьми лежит мёртвый, и оплакивает его лишь самое маленькое чёрное существо, ещё не понимающее, в чём дело...

ИЗ РАССКАЗА «БЕЛАЯ ЛОШАДКА»

Дорогая Апрелька,

и вот теперь я здесь, в Нью-Йорке, теперь я Манхэттена сын, я Богутил Грабал. Я здесь, чтобы отдать долг Уолту Уитмэну, который в конце жизни сидел в инвалидной коляске и ещё успел научить писать стихи того молодого человека, который возил его на этом королевском троне. На проспектах и на улицах, сколько здесь красивейших лимузинов с дамскими коленями на заднем сиденье, сколько красоты, эти американские машины и эти водители, которые ездят не по правилам, а глаза в глаза, на перекрёстках всё решают быстрые взгляды, на перекрёстках сверкают быстрые глаза, и лишь когда водитель уловил согласие в глазах того, кто подъезжает на перекрёсток со стороны, лишь тогда он продолжает двигаться по своей, по главной... а на периферии, какая же это красота, Апрелька, кладбища машин, спрессованные машины, которые уже отслужили, уже состарились и вышли из моды... Вообще, этот Нью-Йорк, правда, как и каждый город мира — это конфронтация жизни и смерти, родильных домов и похоронных агентств... но здесь, в Нью-Йорке, этот ритм жизни и смерти прямо бросается в глаза... по улице проходят элегантные и красивые дамы, а на высоте их колен — глаза просящих милостыню, подставляющих свою пустую консервную банку, и неважно, женщина ли это сидит или мужчина, белый или негр, каждый получит свою монетку и когда монеток наберётся достаточно, бедняки поднимаются и идут в свой бар, на свою улицу, и когда всё, что им подали, пропито, они снова идут просить на то же место.

...А наша гостиница в Гринвич Виллидж, Апрелька, вот это да! Я там три дня ходил в пивную пить голландское бочковое пиво, я там три дня не мог вдоволь насладиться этими красивыми, несчастными, улыбающимися негритянками, которые разносят еду и пиво и всё время улыбаются... как будто хотят, чтобы я на них женился. Апрелька, и так там было хорошо в этой пивной, что мне уже было неважно, что и в издательстве и в гостинице Зузана каждый день на меня кричала... Да пошли вы к чёртовой матери со своей Апрелькой, она опять звонила мне в гостиницу: приехали ли мы, здоров ли, то есть не помер ли, господин Грабал, пекусь ли я о его здоровье... А теперь, Апрелька, я вам покаянно признаюсь, что заботился о своём здоровье, а так как реже всего смертельные исходы случаются в пивных, то я как можно чаще сидел у «Белой лошадки»... и только на третий день я понял, что сижу у окна, где когда-то сидел Дилан Томас, в углу висел его портрет, это был Дилан Томас, с крас-

ным носом, хотя пьяным всё к лицу... А я сидел в задумчивости там, где прежде сидел он, пока с ним здесь же не случился приступ белой горячки и он не умер через три дня в больнице святого Лаврентия в Нью-Йорке...

И потом вдруг — как гром среди ясного неба — Энди Уорхол! Выставка, на которую люди стояли в очередях, как на баскетбол, столько людей захотело увидеть то, что видел и я... Андрея Вархолу, который достиг вершины простоты и будничности, который рассказал всё это нам... И что вообще великолепно в этой стране, это то, что самые богатые в Америке могут потреблять то же самое, что и самые бедные. Ты можешь смотреть телевизор и пить кока-колу, и увидишь, что и президент пьёт кока-колу, Лиз Тейлор тоже пьёт кока-колу, и ты её тоже можешь пить... Я горжусь, что родители Энди родом из Микова, оттуда, из Медзилаборцев; что и глаза Энди Уорхола — это глаза русинов, это их тоска, глаза мужиков, которые пьют от безнадёжности, оттого, что жизнь так коротка, и оттого, что у бедного человека нет ничего кроме чести... Когда подошла наша очередь, мы вошли в огромное фойе «Музея современного искусства» и увидели несколько сот коров с хомутами, несколько сот коров украшало на обоях все стены, и я сразу увидел, что раньше, чем суп Кепбелла, должны были существовать коровы и их туши... мы уже раньше знали всё, что увидели, все уже восхищались раньше, но никогда не придавали этому такого значения... и только теперь, когда Энди запечатлел всех этих Лиз Тейлор, всех этих Джекки, все эти автокатастрофы, всех этих Элвисов Пресли, все эти консервы и упавшие самолёты, все эти однодолларовые и стодолларовые бумажки и электрический стул, короче, всё то, что нас окружает в этом городе, только теперь, когда Энди Уорхол увеличил это с полароидной фотографии до размера два метра на четыре, только теперь нам стало ясно, что привлекает нас в человеческом несчастье и красоте, в чемпионах фильма, и театра, и спорта, и общественной жизни... и в брошенных вещах, и людях, это всё, от чего наши глаза не могут оторваться, от газет и новостей и плакатов, так Andy Warhol поймал нас в ловушку, которую мы сами ему подстроили, так внёс ещё одно измерение в изобразительное искусство...

...И мы радовались, что достаточно зачеркнуть П — и чудо «пост-модерн» превращается в «ост-модерн»... Энди Уорхол, бледный человек в серебряном парике, тот, кто через своих родителей пришёл из Медзилаборцев лишь для того, чтобы дать этому городу, этому обществу взглянуть на себя в зеркало, тот, кто окончил кафедру истории искусств, социологии и психологии, тот, кто начал как иллюстратор, и рекламный, и театральный график. Он первый начал использовать огромные полотна комиксов, а в семидесятых годах увеличил идолов Америки, Джекки Кеннеди и Мерилин Монро, и Элвиса Пресли... и ещё сто двадцать мёртвых, и разбившийся самолёт!... и перевернувшую машину, и пять мёртвых, и головку девочки... У Энди Уорхола, окруженного красавицами хоть он и не верит в любовь, есть

ангелы-хранители. И господин Барышников, русский танцовщик в смокинге и при бабочке — это архангел Гавриил для Энди Уорхола, с ним он сфотографирован на шоу, иссиня бледный Уорхол, простреленный от несчастной любви. Валерия Соланес, наверное, очень его любила, наверное, так, как Мария Магдалина Христа, но Энди мог заявить, что секс для него слишком утомителен, тот Энди, который соединил самое высшее с самым низшим, который умел при помощи дешёвого полароида делать фотографии, как дорогим фотоаппаратом... но главное, тот, у кого были глаза Христа, тот, который пел церковные песнопения из Медзилаборцев, когда к нему приезжала сестра, тот, к кому я и приехал сюда...

Я видел в Нью-Йорке гобелен с единорогом, он белый и стоит на маленьком островке, который окаймляет журчащий ручеёк, и у этого единорога белая грива, у него красивые грустные глаза, полные зрота... ведь с ним может говорить лишь девственница, девушка, которая может родить без зякуляции, как дева Мария... Молодая женщина на другом гобелене, лишь она одна может, лишь в её власти говорить с единорогом, который один стоит посреди Райского сада... и потом я помню ещё одну картину, где единорог уже не в овальном Райском саду, а на воле... и со всех сторон его гонят яростные охотники, он весь в ранах и в крови, в глазах у него ужас и страх... этот единорог — ведь это Христос, а для меня — это Энди Уорхол, тот, в которого три раза стреляла и попала Валерия Соланес, потому что любила его больше, чем сама Лайза Минелли. Конечно, больше всего Энди любила его мама, бывшая русинская художница из народа, maliaretschka, также как и он любил свою мать... он, Энди Уорхол, святой, который родился в американском Питсбурге, но его родители родом из Микулова, из Медзилаборцев... Где-то там живут русины, там мог бы родиться Иисус Христос, который раздавал бы верующим кока-колу и размножал изображения святых... Это мой Энди Уорхол, человек с лицом освобожденного заключённого, человек в растрёпанном парике, сердце которого — это «Алмаз больше чем Риц», человек, который умер от разрыва сердца и кабина «Аполло 8» отнесла его в космическом корабле «Сатурн 5» на небо, на поп-артистическое небо, и там он царствует по сей день... Милая Апрелька, то, что я говорю — это мистификация, я могу себе позволить причислить Andy Warhola к лику святых, это тайна пулевой раны, метафизической раны...

СИНЯЯ КОМНАТА

Томаш Мазал рассказывал мне в пивной у «Золотого тигра» о публичном доме «У Гольдшмидов». В этом доме была «Синяя комната», где однажды побывал канцлер Бисмарк, и когда уходил, то так был тронут и восхищён, что вырезал алмазным перстнем на оконном стекле «Синей комнаты» имя своей фаворит-

ки. Когда во времена президента Масарика пришёл конец публичным домам, то снесли и этот, окна купили садовники, а историки ещё долго потом разыскивали эти стекла, нет ли где парника, на котором Бисмарк алмазным перстнем вырезал имя своей фаворитки...

Пан Грабал, говорит Томаш Мазал, вот если бы это вы тогда были в «Синей комнате» и алмазным перстнем вырезали имя своей Апрельки! Я знаю, время нельзя так просто перетасовать, хоть в хасидских историях и можно было и даже сейчас можно, так как хасиды верят, что то, что ещё не случилось, ещё может случиться... Вот если бы мы нашли это стекло из публичного дома Гольшмидов с алмазным приветом для Апрельки, она бы этого заслуживала...

В понедельник я вместе с другими открывал выставку в семейном доме-музее Франца Кафки. Там есть красивейший выставочный зал, украшенный книгами и фотографиями из жизни писателя, писателя, который для нас — вечно живое доказательство диктатуры бытия... я думаю, что хотя Франц Кафка и написал «Процесс» и «Замок», но диктовала ему сама история... Архитекторы превратили выставочный зал в гигантский алмаз. Как писал художник Сёра, нарезку на алмазе может сделать лишь сам алмаз... Я выступал на вернисаже после профессора Гольдштукера и с вывернутой шеей наблюдал за вращающейся фотографической люстрой, сделанной из фотографий Франца Кафки, составленных по окружности как панно меланхолической карусели... Я назвал этот выставочный зал часовой Франца Кафки и Доры Диамант — фотографии этой красивейшей молодой женщины из Берлина были по мою левую руку, и я во время своей речи вдруг понял, что эта Дора Диамант вообще-то была святой, потому что все три его невесты стали известными только вместе с их Францем Кафкой, но лишь Дора Диамант, лишь эта последняя два года утирала нежно кровоточащие уста поэта, Дора Диамант и есть та Золушка, которая больше всех других женщин Кафки трогает меня...

Томаш Мазал шептал мне под маленькими рогами в пивной у «Золотого тигра» о «Любовницах» Эйснера: я, пан Грабал, должен сейчас заняться женщинами Кафки, и самим Кафкой, тем, как он благодаря женщинам убежал из гетто, я хочу идти по следам беглеца Кафки из расового гетто, потом побега из гетто духовного, потом бегства из гетто социального, из буржуазии, так как на это намекает в «Любовницах» Павел Эйснер... Я дотронулся до локтя Томаша и нетерпеливо перебил его... Я сейчас рассматривал всех этих любовниц и красавиц Франца Кафки. Ведь красивые женщины привлекали не только его, но он сам привлекал их ещё сильнее... я впиваюсь в каждую фотографию молодой женщины, на которую Кафка когда-то посмотрел... и не всё равно «маленькая» ли это «Швейцарка» или *Maschiene-fraulein Kaiser*, фрезеровщица... я во второй раз перечитываю «Замок», там с самого начала появляется Девушка из замка, потом Фрида, подавальщица пива, которую сразу, в тот же вечер,

на полу в лужах пены любил землемер... и ещё Амалия, и прекрасная Ольга, и госпожа Мици, жена бургомистра, по страницам романа проходит хозяйка трактира Гардения, и Пепина из пивной, и ещё служанки — и все влюблены в господина землемера К. Все эти литературные женщины должны быть основаны на реальных прототипах из его жизни... А как насчёт этой молодой женщины Ленки, секретарши доктора Гульда в «Процессе», а как насчёт этой уборщицы, которую потом уносит на чердак студент. Все эти молодые женщины должны были хотя бы промелькнуть в жизни Франца Кафки... А вы знаете, Томаш, кто играл Йозефа К. в фильме «Процесс» Орсона Уэллса? Сам Энтони Перкинс, потому как Орсон Уэллс считал, что он разительно похож на Франца Кафку. И главное — Энтони Перкинс был студентом философии... А Ленку играла Роми Шнайдер! Но, Томаш, вспомните! Йозеф К. в романе только увидел Ленку — и через минуту они уже любил друг друга в архиве у адвоката... Я и говорю, что Кафка не только был привлекателен для женщин, но и его мир женщин привлекал... Его первая любовь в Цукмантле в Силезии, о которой он написал Броду... Здесь в Цумантле я впервые интимно любил... она была зрелой женщиной, я мальчишкой... она перевернула всю мою жизнь, моё интимное существование... Томаш, это так, алмаз сам должен создать сверкание своих нарезок... Томаш? Томаш! Я кричал тихо... или эта Ганзи Юлия Сзоколова? Кельнерша, то есть официантка? Франц Кафка, счастливый, улыбающийся, в шляпе, официантка Ганзи в костюме, похожем на униформу улана, двое сияющих молодых людей, руки наперекрест, а ладони на голове красивой овчарки? И ещё, заметьте, эта фотография была сначала разрезана, кто-то отрезал Франца от Юлии, чтобы он стоял один... лишь через полвека фотография вновь соединилась, и доктор юридических наук опять счастливо воссоединился с официанткой... Томаш, как вы думаете, Франц Кафка тоже побывал когда-нибудь в «Синей комнате» в публичном доме, о котором мы говорили? Томаш улыбнулся, об этом никаких документов не сохранилось, но Франц Верфель пишет о «Синей комнате». Туда ходили художники, Густав Малер играл там для прекрасных женщин на пианино и только так отдыхал. Когда немецкие поэты издавали свои книги стихов или романы, то сразу приходили в этот дом и в «Синей комнате» впервые декламировали девушкам свои печатные тексты, даже обычай был такой, также как младенца дают на руки покачать друзьям дома, то и тут девушки брали в руки эти первые книжки и склонялись над ними и целовали эти свеженпечатанные книги...

Это были прекрасные, золотые времена, в «Синей комнате» тогда была библиотека, и гости приходили не только к девушкам, фавориткам, но могли посидеть в «Синей комнате», взять из книжного шкафа книгу стихов или роман и почитать... или поговорить о литературе с меланхоличными девушками...

Томаш Мазал шептал мне у «Золотого тигра» ещё о том, что писатель Paul Leppin был днём чиновником, а вечером танцевал

в ночных барах в мини-юбке, писал романы и окончил свои дни в кресле-коляске, так как его постигла болезнь Венеры и он более не мог передвигаться... и всё же он дал толчок пражскому и европейскому экспрессионизму, так же как Виктор Гадвигер своей первой книгой, написанной в 1901 году заложил основы современного экспрессионистского искусства. И только сейчас, спустя столько лет литературные критики пишут об этом пражском гуляке, ставя его наравне с Маринетти или Пикассо и Кандинским. Виктор Гадвигер, который слушал лекции философии в пражском университете... Виктор, у которого были длинные, распущенные, жёлтые как солома волосы, светло голубые глаза... Позднее он жил в Берлине, мог так же как и в Праге ужасно пить и кричать и ужасно ругаться... и при этом он написал почти десять книг, стихов и романов, и умер в тридцать три года...

В пивной «У тигра» мы говорим не только о литературе, не только кричим, но и потихоньку шепчем. Вчера Бедрих Фучик вспоминал о том, как сидел в одной камере с красивейшим цыганом. У цыгана была девчонка, к которой повадился ходить мент. Друзья цыгана решили этого так не оставить, дождались, пока мент вечером пришёл, набросили на него одеяло, убили и всунули на скотомогильнике в труп коня, в брюхо, зашили, и все дела. Но потом всё открылось. Цыган сначала получил петлю, потом приговор смягчили на пожизненное заключение. Он был весёлый, как рождественский ладенец. Мягкое личико, очаровательный человек...

Я помню, как тридцать лет назад я написал рассказ «Любовь»... это цыганская любовная история, в конце которой Гастон ведёт свою цыганочку на пражские холмы, в табор цыган, к кочевникам, которые приехали издалека, из Румынии и которые с конями, в перинах и одеялах спали на холме над Прагой... Цыганёнок откинул перину и в рубашонке, почти голый, стоял и под ним за рекой просыпалась Прага и цыганёнок мочился вниз по склону холма, как бы на эту самую просыпающуюся Прагу. И дружок из соседнего района взглянул на него и сказал цыганочке: «Смотри, в один прекрасный день этот мальчишка может стать президентом!»

Перевод с чешского Марии Мартинковой

Рутгер Копланг

Рутгер Копланд — литературный псевдоним Р. Х. ван ден Хооф-даккера (род. в 1934 г.), профессора психиатрии Гронингенского университета. Копланд — один из наиболее читаемых и почитаемых современных голландских поэтов, лауреат высшей литературной награды Нидерландов — премии имени П. К. Хоофта. Стихи Копланда переведены на многие европейские языки.

Из сборника «Среди скота» (1966)

РЯБИНА

Быть поэтом — это значит
рассказать как можно точнее
например, о том, что сегодня
очень рано утром
на ягодах рябины появились слезы
как на моем детском рисунке
их так много и все красные

Из сборника «Органчик из Yesterday» (1968)

Из цикла «ТРИ ЗИМНИХ СТИХОТВОРЕНИЯ»

Я хотел позвать тебя пройтись по лугу
мимо заводи с засохшим тростником
только солнце бледное уже садилось
за деревья и дома вдали, я знал
мне не вынести, что наши тени будут
одинокие скользить по полю.
Я боюсь, сказала ты.

Я хотел с тобой пройти через деревню
днем, когда здесь никого не встретишь
заглянуть в кафе, где в занавесках блики
солнечные будут танцевать. Но знал я
мне не вынести, что тишина за нами
одинокими пойдет по следу.
Я боюсь, сказала ты.

Я хотел с тобою спать чтоб словно солнце
мои руки, губы и глаза скользили
по неведомым холмам и по долинам
тела твоего. Но знал я, не снести мне
что всю жизнь мы будем одиноки
просыпаясь предрассветным утром.
Я боюсь, сказала ты.

*Из сборника
«Пустое место, где можно остаться» (1975)*

* * *

Мы говорили — ветер уносил слова
улегся ветер — и мы замолчали

потом, вернувшись, сели мы за столик
смотрели на реку, на тополя, на ивы
все неподвижно — как картина в раме
и под стеклом — но все несло, несло

с огромной силой. Руки так дрожали
что не могли мы пить не проливая.
и снова мы в окно глядели, ждали
чтоб в рюмках улеглось вино — с терпением

с каким под ветром гнулись тополя.

Из сборника «Этот вид из окна» (1982)

ДОЧКИ УЕХАЛИ

Им правда время уже было из гнезда
родительского вылететь, я видел
по выражению их лиц, что незаметно
они из деток стали мне друзьями.

Я это чувствовал, когда их целовал
по запаху волос и кожи, для других,
не для меня уже расцветших, не как раньше,
когда нам было некуда спешить.

Стремлением к неведомому, счастьем, грустью
дышал наш дом в последние недели,
в их комнаты где собирали вещи
чтоб взять с собой, стеклись воспоминанья.

И вот уехали. Хожу по дому
гляжу в их окна, вижу точно те же
дома и мир, что двадцать лет назад
когда сюда я только поселился.

Из сборника «Терпеливый инструмент» (1993)

Из цикла «ЗАРАСТАЮЩАЯ ДОРОГА»

Пока ты здесь еще, ты хочешь рассказать
кому-то что-то, но рассказ — о старом доме

почти разрушенном. Пока же есть слова:

На эти балки опиралась крыша, копать
на кирпичах — где жгли огонь. Здесь двери были,
здесь окна с видом в сад, на пруд, на виноградник,
вот камни от стены, тут раньше дом стоял.

Ты бродишь меж своих стихов, почти один,
над головой уже совсем нет крыши, холода
и ветер продувают куртку. А шиповник
и терн тебя цепляют и землю веет.

Слова еще живут, но говорят про мир
для тех, кого уж нет, слова плывут как время
не вспять но и не вдаль, а как без крыши дом.

СРЕДИ СКОТА

Когда же лето снова воротилось
мы снова у реки сидели, снова пили.

И он своими стариковскими руками
указывал на вечный мир коров на луге.

Лучше б человек был зверем, умирал
каждой осенью, весной рождался б снова.

Или, лучше б человек рекой был чтобы
в мир придти без жажды жить, уйти без боли.

Так и сидели у реки и пили, время,
рассказы старые и джин, но солнце село.

И он заснул. Ведь и весь мир заснул, и черным
он силуэтом поднимался над рекою.

Из сборника «Пока нас не отпустит» (1997)

СТИХОТВОРЕНИЕ О ГОРНОМ ПЕЙЗАЖЕ¹

Нет здесь нельзя употребить такое слово
как мир, оно ведь слишком велико
и пусто и бело для этого листа

и слово время тоже где-то за пределом
того что можно, оно тоже слишком
конечно/бесконечно и бело для этого листа

но в мыслях мы имеем право — только в мыслях —
сказать слова эти, припоминая то
о чем я здесь пишу — ну, скажем, о пейзаже

о том как мы стояли на вершине
малюсенькие, смертные, у наших ног
тот в осязанье данный час земли, — так можно

но мимолетное местечко истины вдруг взять
и описать словами мир и время
— слова растают, мы растаем в них

Перевод с голландского Ирины Михайловой

¹ Стихотворение посвящено Пауле и Херриту Каувенарам.

Александр Кондратов

ИЗ ЦИКЛА «ПИРЫ И ЯМБЫ»

ДЕДЫ

«Мужик представлен на картине.
Благодаря дубине
он льва огромного терзал...» —
так граф Хвостов стихом дерзал,
и — верую! — в сем славном слоге
поболе проку, чем в элоге
иль прелой прелести элегий...
Стих — не прилежная телега!
Не по проторенной дороге
опережают жизни дроги:
что пел Хвостов и плел Лебядкин
сегодня вовсе не догадки
умишек — скудных головешек...
Нам полной мерой бред отвешен.
И вместо пушкинского «-енья»,
некрасовского «щи» да «вши»
хвостовские стихотворенья
ключи сегодняшней души!

ПИР

Пир!
Пирогá плывет пирогá.
С самодовольного порога
она минует все пороги.
Рука несущего — порука!

Задумано отнюдь не плохо.
Не обходи прожорство, «похоть», —
в горах отменного гороха,
в салатной прелести укропа
и в озорных зернистых икрах
мы удовлетворяем прихоть.

Пускай от пьянства мало прока:
бутылка, святостью порока,
уста откроет, как пророку,

тому, кто ценит бремя рюмки.
Она протягивает руки,
бутылки дуются на вилки
и воссияют, как картинки,
бокалов крепкие затылки.

Великий пир!
Напитков — реки.
Закуски — от икры до кильки.
И даже крабы, рыбы, раки,
и бутерброды крайне ярки...
Великолепные подарки
природа дарит человеку.

И человек, поправив чрево,
в свою утробу, точно в торбу,
кладет уверенно-игриво
дары морей и огородов,
по праву оценив природу!

ОДА БАРДАМ

«ПОЭТУ ВАЖЕН ТОКМО ЗВОН» —
изрек пиита Тредьяковский...
Потуги смысла, туги — вон!
Быть по сему! Будь стих таковским!
Звени же, не стихая, звон
стиха. И начихать на смыслы!
Пусть семикратно будет он
в поту потомками осмыслен.
Петров, Державин, граф Хвостов,
Костров, Херасков... Обелиски!
Звон, звук — поэзии исток.
Объевшись белены, Белинский
на лиры звучные хулу
возвел критическим Иудой —
надев на Музу архалук,
поэзии ущучив чудо.

ПОЭТУ Ж ВАЖЕН ТОКМО ЗВОН!
Четырехстопным сдобным ямбом
вонь жизни вышибает вон
и тысячесвечовой лампой
сияет в сумрачной ночи,
четырехстопием объяв жизнь,
и глас ямбически звучит,
до глоссолалии поднявшись!
И все ау, уа, уы,
дыр-бул и еуы Крученных
остались за бортом, — увы! —

у учпедгизов и ученых.
 И лишь в античных именах
 (Ио, Эол, Тевкр, Ортр, Ниоба)
 отыщет пищу, ныне наг,
 поклонник твой, о Каллиопа!
 Да будет важен токмо звон
 пиитам в сем подлунном мире!
 Да воссияет снова он
 и глоссоалит звуколире!

ОДА ОДЕ

О да! О да! Восславит ода
 блистанье ямбов славных дней!
 Сантиментальные иуды
 те ямбы вылили в елей.
 Елей томленья, мленья, «-енья»...
 Паденье ниже: «щи» да «вши»...
 Гнусавость пушкинского пенья,
 некрасовские барыши!

А барды будто из бомбарды
 палили ямбы в тронный зал,
 и с ломоносовской петардой
 дружил державинский хорал.
 И гласных звук, трубоподобен,
 в губных согласных бубен бил,
 орлом паря в подножьях тронов,
 и славословил, и губил,
 и стих брильянтом табакерки
 переливался и сиял...
 О, годы оды не померкнут
 поэтов-первороссиян!
 Век восемнадцатый — величье
 Екатерины и Петра,
 великолепии обличья
 при натуральности нутра.
 Бессмертных век! Великих — вече!
 У оды гордого одра
 тебя восславлю встречной речью,
 что громогласна и бодра.
 Пусть стих стегаёт, настагая
 врагов прославленных пиров.
 Слагаю оду расстегаю!
 Шекснинской стерляди пирог,
 насыти плоть, ухую — в ухо
 вельми оголодавший мир.

Пир! Яства ямбов, кубки звуков...
 Пир! Верной лиры гулкий пир!

ИЗ ЦИКЛА «АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОСТИ»

ЧУДО

Не мил Климен.
Не дала! — А ладен
он... Но
Лавр ее рвал.
Рвал ее Лавр,
как
киник.
...А родило?.. Пол Аполидора!

АХИЛЛ

Лих Ахилл.
Мечем
«я! я!» лъвят являя
или
уведя деву...
Еще
как
лих Ахилл!

Кирилл Кобрин

ПРЕВРАТНОСТИ ЖАНРА

Эти закатившиеся сомнамбулические глаза, эти мышцы рук и ног, вздувающиеся и каменеющие, словно под воздействием гальванической батареи, — ни опьянение, ни бред, ни опиум в их самых неистовых проявлениях не представят вам столь ужасного, столь поразительного зрелища.

Шарль Бодлер

В коротком эссе «О порнографии», напечатанном в русской эмигрантской газете «Возрождение» за 11 февраля 1932 года, Владислав Ходасевич пронизательно замечает: «...цель порнографии ... неживое или словесное изображение в наибольшей степени приблизить к реальности». И далее, весьма остроумно: «...бутафорский окорок вызовет в зрителе чувство голода вернее, чем окорок, нарисованный великим художником». Сорок семь лет спустя, в сочинении, соблазнительно озаглавленном «О со-вращении», Жан Бодрийар развивает мысль нечитаного им Ходасевича в противоположном направлении: «Порнография, напротив, добавляет дополнительное измерение пространству секса или пола, делает его более реальным, чем само реальное: вот что составляет отсутствие в ней соблазна». Если верить Бодрийару получается, что бутафорский окорок, будучи более «реальным», нежели настоящий, чувства голода не спровоцирует.

Однако есть одно обстоятельство, ускользнувшее и от несколько старомодного русского поэта и от ультраактуального французского культуролога. Ни Ходасевич, ни Бодрийар, говоря о порнографии, не заметили, что речь идет о жанре исторически (историко-культурно) ограниченном. Этому аспекту волнующей проблемы и посвящены мои сумбурные заметки.

Порнография¹ — типичный продукт западной культуры; прежде всего — эпохи Просвещения. Человек, лицезреющий крупный

¹ Речь идет, конечно, о порнографии, как о жанре, характерном только для западной культуры; жанре массовом, профессионально воспроизводимом. Порнография, так сказать, «народная», любительская здесь не затрагивается. Что же до традиционного Востока, то там, кажется, порнография (как культурный феномен) невозможна.

план погружения одного органа в другой (или работы поршенька в дырочке, как стилистически будет угодно), приобщается к великой культурной традиции: от изобредающего в микроскоп инфузорию Пастера.¹ Идеологическое намерение XVIII века методологически оформило XIX столетие, то самое, которое, по словам Мандельштама, — «огромный, циклопический глаз», «ничего, кроме зрения, пустого и хищного». Это страшное око, вооруженное сначала пенсне, затем фотокамерой, еще позже — кинокамерой, стремится лишь к одному: сорвав покров за покровом, рассмотреть реальность во всех ее подробностях.

Будучи производным века Просвещения, порнография — одно из любимейших чад универалистского мировоззрения. Мыслитель XVIII века, сторонник теории «естественного права», скажет, что все люди одинаковы от рождения; «конечно! — согласится порнограф, — те же отверстия и выпуклости, разница только в размерах». Апофеоз количества при сохранении неизменного качества, характерный для порнографии (столько-то «палок», столько-то позиций, такой-то длины член), есть одно из проявлений философии Просвещения, а ведь именно восемнадцатое столетие было временем первого настоящего расцвета жанра. Как точно подметил Ролан Барт в одном из своих эссе о маркизе де Саде: «Будь то Астрахань, Анжер, Неаполь или Париж, садовские города — не более чем поставщики плоти, уединенные домики, сады, служащие декорацией для сладострастия, и климаты, служащие для возбуждения сладострастия; перед нами неизменно одна и та же география, одна и та же популяция, одни и те же функции. Важно пройти не через ряд более или менее экзотических случайностей, а через повторение одной и той же сущности...»

Романтизм XIX века породил в западной культуре нового времени визави порнографии — эротику; все эти пышные полунеприкрытые красавицы из романтических ориенталистских поэм (и картин) совершенно неспособны на конвейерную акробатику де Сада.

Действительно, порнография — фабрика секса; ее массовый, конвейерный характер требует умелой организации, точных технологий, четкого администрирования. Можно опять вспомнить Барта: «...сладострастие является пространством обмена, обмена действия на удовольствия; «излишества» должны быть рентабельны, следовательно, их нужно подчинить экономии, а эта последняя должна быть планируемой». Каждый коитус в порнографиче-

¹ Символом борьбы с порнографией (романтической реакции на порнографию?) можно было бы считать жюльверновского злодея Негоро, сломавшего очки ученого Паганеля. Потерявшая зрение наука позорно не смогла отличить Африки от Америки; только голые негры, которых Паганель и разглядеть толком не мог, продемонстрировали, что «это не Америка, это — Африка!».

ском фильме (книге) — работающий станок: крутятся шестеренки, пыхтит привод, летит окалина, закипает смазка. В одной из ранних картин несравненной Чичколины есть такой мини-сюжет. В просторном холле, оборудованном различными пуфиками, диванчиками, креслицами, организована съемка порнофильма, но дело не клеится. Блондинистая минетчица не в силах перебороть рвотные спазмы, анальный секс вызывает у жгучей брюнетки не менее жгучие слезы. Входит Чиччолина. Где лаской и таской, где рачком и язычком, она налаживает бесперебойное сношение там и сям, а потом гордо смотрит прямо в камеру. Вспоминается классический советский «Светлый путь», эта торжествующая песнь социалистической индустриализации. Любовь Орлова бьет производственный рекорд — в одиночку налаживает сразу несколько десятков ткацких станков. В финале: горящие глаза и непрерывная музыка.

В какие бы (мгновенно, впрочем, скидываемые) историко-культурные тряпки не рядились порно-актеры и порно-персонажи, суть их действий всегда одна; она всеобща и универсальна.

Тело и его отправления для порнографа функциональны, и только. Тем (именно тем) они красивы; порнограф согласился бы со знаменитой формулой Ле Корбюзье «что функционально, то красиво». Тем самым, порнография — воплощенный конструктивизм, но, как и конструктивизм, она имеет свои исторические рамки. Ироничный и эклектичный постмодернизм противопоставлен серьезной, угрюмой порнографии, утопичность которой сродни утопичности марксизма: по Марксу — пролетарии всех стран движимы одной универсальной страстью — страстью к классовой борьбе, по Чиччолине — человеческие особи всех полов и склонностей движимы универсальной страстью к совокуплению. И марксизм и порнография подвержены неожиданной сентиментальности: плюшевые мишки Чиччолины в этом смысле равнозначны любимому кларету автора «Капитала». Наше столетие явило нескольких персонажей, сочетавших марксистские убеждения с глубоким интересом к порнографии — это были деятели героической эпохи сюрреализма: Арагон, Бунюэль и далее по алфавиту. Интересно, люди марксизму чуждые ничего в порнографии не смыслили (и не смыслят). Например, Сьюзен Зонтаг. В эссе «Порнографическое воображение» она несколько двусмысленно (для русского уха) заявляет: «В порнографии лучше не пересаливать».¹ Эта благонамеренная женщина сильно ошибается. Ошибается дважды. Во-первых, подходя к порнографии во всеоружии аристотелевой эстетики. Батай для нее лучше де Сада; «История ока» — «камерная музыка порнолитературы», а «утомительная повторяемость книг де Сада — результат его

¹ «Пересаливать» (от слова «сальность») и есть чуть ли не главная задача порнографа. Это должен был учесть русский переводчик «Порнографического воображения».

творческой несостоятельности». Как бы не так. «Утомительная повторяемость» и есть основной принцип и конвейера и порно. Штучный Аристотель на это производство и не заглядывал. Да и Батай, этот мусорный романтик, бодлерианец и гегельянец, вовсе не порнограф. Во-вторых, порнография и есть »пересаливание» (теперь уже от слова «солить»), «гиперпересаливание», такое же торжество цифр, размеров, попыток, как легкая (и тяжелая) атлетика. Не будем же мы обвинять прыгуна, установившего мировой рекорд, в «переборе»!

Но вернемся к сюрреалистам. Вздумай Бретон (или Бунюэль) написать (снять) нечто порнографическое, то получился бы несколько модернизированный де Сад, где в перерывах между составлением сложных коитусных композиций, герои пространно философствуют, только не на просвещенческом жаргоне, а на марксистском. Но не сочинили, не сняли такого генералы сюрреализма. Духу не хватило.

Увы, порнография ограничена не только исторически. Предел ее технической (и методологической) экспансии — вживить мини-камеру в член или во влагалище (анус, рот, ухо, ладонь — по склонности). В этом порнография повторяет судьбу еще одного вида искусства Запада — «реалистической живописи». Живопись дошла до предела своего стремления к реальности и наткнулась на фото. После этого началось ее «разложение» на элементы: первоцвета, первоформы, перволинии. Было бы заманчиво представить себе порнографию будущего в виде вибрирующих молекулярных схем, трущихся друг о друга лент ДНК и т.д. Но, боюсь, этого не произойдет. Порнография остановится на поверхности соприкосновения эпидермы. Оставим ее здесь, ибо здесь, как говорил поэт, конец перспективы.

Николай Уперс

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Часть первая. АД

1

В притоне приторном, в Марселе,
где сумасбродит матросня,
как детвора на карусели —
галдя, хмелея и пьяня
смешеньем всех оттенков кожи,
где воздух пахнет анашой,
когда умру, яви мне, Боже,
бессмертья фокус небольшой!
Твоих я ангелов не трону —
мне хватит этой голытьбы,
как моему Иерихону —
саксофонической трубы.
Пусть буду мальчиком-метисом,
легко вращающим поднос:
— Дружок, тебе перно с анисом?
— Тебе, красавчик, кальвадос?
— Тебе?.. — Но, пасмурной Гекаты
магнитный впитывая яд,
зрочков горячие агаты —
«Тебя!» — в ответ проговорят...
Пошли! По лестничной спирали
впритирку двинем, бель ами,
в сераль, где и до нас орали
в подушку «О, е!..» и «Фак ми!»

2

— Уот из ю нэйм? — Ихь хайсе Вилли. —
— Ха, бист ду дойче? Ихь бин Польш... —
Но пальцы жадные обвили
отвердевающую боль —
и больше мы не говорили...
А плавали... Какой-то кроль —
то вдоль, то поперек перины.
Живых угрей вбирала рты.

Подмятый, вроде субмарины,
 я умирал от духоты,
 целуясь с ним вполоборота.
 Стучало сердце, что крыло
 летящего в ночи Эрота, —
 так хорошо, так тяжело!..
 Он кончил судорогой гладкой —
 и лаской донного песка
 укрыл... Я чувствую лопаткой
 бискайский камешек соска...
 Моя плотва в его ладоне
 смелей становится, сильнее, —
 перевернись, не бойся... о, не
 сопротивляйся — так больней...
 Вот так, вот так! Сквозь страх и трепет!
 Сквозь нежность, мужество и жуть!..
 Так Бог, истосковавшись, лепит
 Адама сладостную грудь.

3

Подростком, вынувшем занозу,
 лежу, вдыхая до утра
 татуированную розу
 в раю атласного бедра.
 В ресницах радужно светает
 от кожи, дышащей у рта.
 Волна под окнами болтает
 баркасов крепкие борта.
 К утру из отрока любого
 торчит труба — и ты таков,
 и я... Люблю тебя — *ab ovo*
 до губ и шейных позвонков!
 Уже марсельские матросы
 спасенья подняли символ...
 — Э, гутен морген! — рокот прозы
 коснется сонных альвеол.

4

Глаза, раскосые спросонок,
 что будет, знают назубок —
 и твой немецкий поросенок
 мне липко тычется в лобок.
 Подмышка, пахнущая потом,
 и колющаяся щека...
 Мы, в позе лотоса, пилотам
 уподобляемся: рука
 моя, старательно и робко,
 за рукоятку без костей

берется... Вилли, ты — коробка
сластей, страстей и скоростей!..
О, Боже, я не виноват же,
что светится его плечо —
как на картине Караваджо,
никем не виденной еще.

5

Не музыка, но рифма — сводня:
в ней, платонической, одной
слиты две особи... Сегодня,
Вильгельм, у Поля выходной —
поторопись... Марая клеем
вечноживущим мой живот,
он отлетает к эмпиреям...
И я — вот-вот, и я — вот-вот...
Тела мучительно разнимем —
и в джинсы их, как звук в дуду.
И чуду бежевому в синем
уже шепчу я на ходу
с беспечной нежностью голубок:
— Адью, мой миленький годок! —
Ведь порт твоей приписки — Любек,
ганзейский славный городок.
А там на сказочных монетах
нет решки — там одни орлы...
Ты в судоходных канешь Летах,
но, верю, вынырнешь из мглы.

Часть вторая. ЧИСТИЛИЩЕ

1

Крути у лба, читатель, палец,
но мы — в тропическом лесу:
меня пронзает сенегалец,
а у кенийца я сосу.
Под либерийским вольным флагом
томилась долго эта статья —
как шоколадным бедолагам
я мог бы нежности не дать?
И вот распластан на полу я
(на две беды — один ответ) —
на знойной дыбе поцелую:
у них и кесарь — людоед...
В тисках двуглавого Бокассы —
мои виски, мои бока,
а пряных мальчиков бекасы
покруче будут кулака.

2

От зомби и не ждал поблажки,
но, черт! — ни пикнуть, ни дохнуть —
полос закатанной тельняшки, .
как клетки льву, не разомкнуть —
с такой рогатиною в пасти...
Катать лишь остается мне
каштаны, сжатые от страсти,
по распаленной головне.
И, окольцовывая палец,
ответный чувствовать бемоль...
У, сука — этот сенегалец! —
Какая боль, какая боль...

3

Но вот мой слух звериным стоном,
а рот ошметками медуз —
полны. И шапочки с помпоном
слетает прочь червовый туз.
И я, глотая слизь и слезы,
обвив рукой курчавый шар,
кажусь себе бутоном розы,
вместившим пасеки пожар...
Скорей в берберский мой гербарий,
ацтекоиафетолаз,
кончай и ты! Смежай свой карий,
как два других, огромный глаз!

4

Победный трубный рык арапа,
сердец финальный перестук...
Я умер! В жилах — ром и граппа:
ни ног не чувствую, ни рук...
Но чу! Чего еще скотине?
Зачем веревки эти?.. Ап! —
я вьюсь, как муха в паутине,
а там, куда любили, — кляп.
И, падлы, любятся, качая
своими шлангами: «Ты сыт?
Не хочешь ли, приятель, чая?»
И, с-сукин с-сын, кениец ссыт!..

5

Ну, триста франков, ладно, мелочь.
Но вот костюмчик выходной!
Как это ты, Знаток Несмелыч,

впросак попал очередной?..
 Часы, ботинки желтой кожи,
 духи, прижизненный Верлен..
 Зачем Верлен такому, Боже, —
 с мифологемой до колен!..
 Праправнук Хама, до упора
 в меня вгонявший свой прибор,
 душиться будет от Диора —
 черт знает что! Аполлодор!..
 Еще шкатулка из сандала,
 как бы подарок Шарля Кро..
 У крокодила, у вандала —
 ее пухучее нутро!..
 Все вытрясли, глумясь, карманы,
 цветной изгадили журнал..
 Какие, право, бусурманы!
 Я так и знал, я так и знал!

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА

Публикуемая здесь незавершенная поэма Н. Л. Уперса, весьма постмодернистски пародирующая в своем названии и структуре высокие поэтические образцы, является, вероятно, его последним произведением. Многолетний знакомец Уперса профессор Рейнике Ласпу (Упсала, Швеция), посетивший писателя в гамбургской клинике Моргенталь 4 апреля 1993 года, незадолго до его смерти, сообщил нам, что во время этой встречи разговор коснулся и «новой поэмки à la „Commedia“, пописываемой тут по причине гигиеничной бессонницы».

Согласно авторскому замыслу, вспоминает д-р Ласпу, третья часть поэмы должна была называться «Рай» и изображать общение лирического персонажа с неким престарелым аристократом, разворачивающим перед глазами (и ощущениями) героя поистине босховские картины. «Николай всё так любил исфорачивать наоборот», — резюмировал по телефону из Мальмё содержание «Второго рождения» наш шведский друг.

Увы, унаследованная нами машинопись содержит лишь две завершённые песни. Скорее всего, заключительную Уперс написать не успел. Сохранились лишь три черновых фрагмента, из которых первый, по всей видимости, относится к «Аду», а два других — к ненаписанной третьей части. Их мы воспроизводим ниже.

[1]

Орешек греческий инь-яня
 был симметричен, тем пьяня.
 И я — Икар, крылатый Ваня —
 сочился воском без огня.
 Ты кончил в зарослях ладоней,
 не помнящих — какая чья.
 «Коль славен наш Господь в Сидоне», —
 пропела трубочка твоя
 влажногосый гимн Эроту.
 И, липкой патокой облит,

я снова лезу в ту же воду,
в которой плавал Гераклит.

[2]

«Узнаёшь, дружок, это Вилли —
в Барселоне его убили:
погляди, вот след от ножа,
не от финки даже — от фомки...»
Чуя жар розовой кромки,
в рану перст вложил я, дрожа.
[.....]

Глянул я: о, жуткие рожи —
в гуталине рокерской кожи!
«Вон тот, бритый, — Мишель Фуко».
Но Фуко нажал на педали...
«Тот, плюгавый, — не Деррида ли?»
«Дерриде до нас далеко!»

[3]

Мне огонь показался пухом,
когда вынырнул человек,
научившийся хрюкать ухом:
плоть, почти что ставшая брюхом,
и яичница — из-под век, —
на ладонях-пятках припрыгав...
Всё чудовищно в пришеце!
Тошен он, как Кибиров-Пригов-
Рубинштейн в едином лице!

В правой — Муза, в левой — другая.
С виду — пьянь и рвань, да рогат...
Он изрек, громами рыгая:
«Славн ль, паря, в горниле Р-р-рая?»
И я понял, что это — ад.

*Публикация, подготовка текста
и послесловие Алексея Пурина*

Р. S. Пользуясь случаем, сообщаю читателям необходимые и вполне достаточные комментарии к опубликованным мной уперсовским «Апокрифам Феогнида» (см.: Риск, № 2, М., 1996; Urbi: Литературный альманах. Выпуск седьмой: Труды Феогнида. СПб., 1996. Далее страницы указаны по второму, отдельному, изданию). В составлении настоящих комментариев принял посильное участие новозеландский исследователь творчества Уперса д-р Паулин Рескей, вступительною заметкою которого к английскому переводу «Констанцы Юстиниана» (Fraud & Son Publishing House: West Seeryn, Mass., 1996) считаю своим долгом их предварить:

«Русский писатель Николай Леонардович Уперс, родившийся 23 июля 1950 года в Потсдаме [не будучи немцем, приношу все же читателю извинение за грубый антисемитский каламбур, составляющий название этого прусского городка. — А. П.] и умерший от нефрита 15 апреля 1993 года в Гамбурге [не путать с Гомбургом. — А. П.], был по-настоящему гражданином мира. Кроме английского, немецкого и французско-

го, которыми он владел в совершенстве, Уперс говорил и писал на венгерском, итальянском и сербохорватском, мог изъясняться едва ли ни на любом из языков Европы. Он вообще любил всю эту возделанную и угнетенную цивилизацией часть света, особенно же — ее средостение, место, где сходятся пределы Тироля, кантона Тургау, южной Германии. Здесь, на Боденском озере, вблизи Констанца, в котором некогда сожгли Гуса, родился в 1919 году отец писателя. Здесь, после поражения Красной Баварии, скрывался его *geg* — сербский интернационалист Михайло Уперц. Здесь, на кладбище в Крейцлингене, покоится прах его бабки — Бригитты, приходившейся двоюродной сестрой председателю Исполкома Баварской советской республики Евгению Левине.

Сюда Николая Уперса, — прожившего почти всю свою жизнь в России, преимущественно — в Москве (он переехал в Германию в 1991 году), — влекло врожденное „чувство Европы“, как выразился русский поэт Осип Мандельштам. Врожденное — не только вследствие банальной генеалогии, но и генеалогии духа. Его притягивала не столько территория Австрии или Вюртемберга, сколько земля Вагнера и Набокова, Манна и Винкельмана. „Далмацкий Кюстин“ (1985) и „Констанца Юстиниана“ (1992) — называются прозаические книги Уперса, опубликованные еще при его жизни, но, увы, вдали от России.

1. Определение *Стерна* как «стервеца» (с. 5) связано не только с Пушкиным, но и с Набковым; см. в «Лолите»: «Я в аду, я в бреду: „выйти я не могу“ / Повторяет скворец у *Стерна*». *Стервец* = *Стерн* + *скворец*.

2. *Джим* (с. 31-32) — собака нар. арт. СССР В. И. Качалова (наст. фам. Шверубович, 1875 — 1948), воспетая поэтом С. А. Есениным.

3. *Юджин* (с. 31-32) — персонаж повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

4. *Вирджиния* (с. 31-32) — штат США.

5. *Машевский* (с. 16 и др.) — от «*ma chefs*» (фр.), означающего «мое лучшее», «мое главное», «наше всё».

6. *Кокто* (с. 6) — «когда и где?» (жаргон фр. гомосексуалов).

7. *Гренуй* (Гренуэй, с. 32), наряду с *Делёзом* и *Бартобатем* (там же) — парфюмеры, персонажи романов модного немецкого беллетриста П. Зюскинда.

8. *Померанцев* (с. 98) — ср. в романе Мурасаки Сикибу «Гэндзи-моногатари» (рус. пер., т. 2, с. 137):

Твои рукава
Источают все тот же нежный
Аромат померанцев.
И я никак не пойму,
Мать предо мною иль дочь?

9. *Каприйский буревестник* (с. 16) — имеется в виду Горький Максим (прозванный *Горьким*), солдатский император III в., из варваров, свергнутый и отправленный в Неаполь, а затем умерщвленный в Горках Лейнинских.

10. *Двойной орешек* (с. 46) — грецкий орех (*Juglans regia*, *Juglans nigra*, *Juglans cinerea*...). Любопытно, что грецкий орех называли в Китае «персиком западных чужеземцев» (Ш е ф е р Э. Золотые персики Самарканда. М., 1981, с. 200). См. там же (с. 83):

С кудрявой головкой из варварских стран
мальчик зеленоокий
В безмолвную ночь на бамбуковой флейте
в башне играет высокою.

Ср. также со стихами Цжан Юна (эпоха Сун):

Прекраснейшие юноши весной
Идут за город шумною гурьбой.

Втроем, вдвоем расходятся они,
В беспечности они проводят дни.

Среди цветов под городской стеной
Прекрасною любуются весной.

(Китайский эрос. М., 1993. С. 254)

А. П.

Л. Арсеньев

AUX PUCES*

Самое главное, чтобы были верны общее направление и крупные конечные выводы, которые оставались бы верны даже в том случае, если бы все детали оказались ошибочными.

Э. Ренан («Евангелия и второе поколение христианства», пер. Э. А. Серебрякова)

1. ТРИ ОХОТЫ НА ОМ

I

«Маленькая подробность. Пушкинский стих об Арагве он цитирует несколько раз — и всегда с ошибкой: „На холмы Грузии легла ночная мгла“. У Пушкина этой безвкусицы, этого „легла мгла“ нет, Пушкин не мог ее написать, — а герой Иванова ее твердит как ни в чем не бывало, — он даже *повторить* не умеет того, что Пушкин умел *написать*, потому что у него уши заложены, потому что поэзия ему была и есть глубоко, органически чужда. Он не только не творческий, но и не сотворческий человек». (Из статьи В. Ходасевича «„Распад атома“ (О книге Г. Иванова)».)

«Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу:

На холмы Грузии легла ночная мгла...»

(ОМ, «Кое-что о грузинском искусстве», 1922)

Крамольная мысль: а ведь Ходасевич, пожалуй, не ошибается. Вот откуда взялось «виноградное МЯСО» (формально, конечно, все правильно: Даль пишет, что «Мягкую и сочную нутренность плодов, нпр. дыни, персика и пр. иногда зовут мясом». Но тот же поэт и сердце называет «испуганным мясом»).

* На блошином рынке (фр.)

II

«Человек, способный назвать свою книгу „Муки слова“, рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу», — гневается в «Четвертой прозе» ОМ на обокраденного Горнфельда. Впрочем, получается, что Горнфельд пострадал *дважды*:

Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

(ОМ, «Армения», XII)

Заметим к слову, что образ Земли-Книги — хлебниковский, как впрочем и все «Стихи об Армении», вышедшие из «Трубы Гуль-муллы».

III

Его толстые пальцы, как черви, жирны...

Какая точность! Как он угадал! Пальцы Сталина действительно оставляли жирные отпечатки на страницах, поэтому книги ему давали читать неохотно... etc

Ан нет, книги неохотно давали читать как раз ОМ (забывал вернуть), и именно его отпечатки сохранились в книге «Начало века» Андрея Белого:

«Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей; он хватался за пепельницу, за колено З. Н. [Гиппиус], за мое» (в главе «В. В. Розанов»).

Лакомую тему о «замещении объекта ненависти» (Розанов — Сталин) оставим без внимания.

2. ТРИ ОПЫТА КСЕНОФОБИИ

I

«Я по крайней мере могу отдать себе печальную и горькую справедливость в том, что чувство тоски и ужаса уже много лет стало привычным состоянием моей души, — и если этого недостаточно для умилоствления судьбы, то во всяком случае несчастье не застигнет меня врасплох» (Тютчев, письмо Э. Ф. Тютчевой от 23 июля 1856 года, перевод с фр. Е. И. и К. В. Пигаревых).

Родившийся три года спустя английский поэт передаст ту же мысль иначе, куда более «красиво» и поэтому намного менее выразительно:

I to my perils
Of cheat and charmer
Came clad in armour
By stars benign.

Обману править
Не дал я мною
(Укрыт броней
Был Всеблагим).

Hope lies to mortals
And most believe her,
But man's deceiver
Was never mine.

С надеждой лгущей
Нам не расстаться,
Но заблуждаться
Пришлось другим.

The thoughts of others
Were light and fleeting,
Of lovers' meeting
Or luck or fame.
Mine were of trouble,
And mine were steady,
So I was ready
When trouble came.

Мечты их были
Так преходящи,
О предстоящем
Был легок сон.
А я тревогу
Носил с собою.
И вышел к бою
Вооружен.

(Справедливости ради отметим, что Хаусман, видимо, почувствовал какое-то неблагополучие в этих изящных стихах и не включил их в свою книгу.)

II

Знаменитое «Afterwards» Харди:

When the Present has latched its postern behind my tremulous stay,
And the May month flaps its glad green leaves like wings,
Delicate-filmed as new-spun silk, will the neighbours say
«He was a man who used to notice such things»?

(Когда Время за робким гостем запрет ворота
И месяц май, оживясь, молодою листвою заплещет
Свежей и тонкой, как шелк, — скажут ли люди тогда:
«Он всегда умел замечать подобные вещи»?

Перевод. Г. Кружкова

Господи, как ужасно это «who used to notice...»! И как хорошо (ровно о том же) у Тютчева:

О, как все это я любила!

III

В книге Поля Валери (издания 1936 года), найденной мною на чердаке, следующее место отчеркнуто неведомой (женской?) рукой и рядом с чертою карандашом написано — «вы»:

«Мне представлялось тогда, что самыми сильными умами, наиболее прозорливыми изобретателями, наиболее точными знатоками человеческой мысли должны быть незнакомцы, скупцы, — люди умирающие, не объявившись. О существовании их я догадывался по жизни блистательных людей, несколько менее стойких» («Вечер с господином Тэстом», пер. С. Ромова).

Бедняжка! Интересно, видел ли он? А если видел, то не сказал ли ей (чуть раздраженно), что читать Пушкина хоть и не столь модно, но куда здоровее:

«Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в „Московском Телеграфе“».

3. ПОБЕДИТЕЛЬ УЧЕНИК

I

Набоков в статье «Искусство перевода» пишет: «Недостаточное знание иностранного языка может превратить самую расхожую фразу в блистательную тираду, о которой и не помышлял автор. «*Bien-etre general*» становится утверждением, уместным в устах мужчины: «Хорошо быть генералом», причем в генералы это благоденствие произвел французский переводчик «Гамлета», еще и попотчевав его при этом икрой» (пер. Е. Рубиновой и А. Курт).

Эта тирада и сама по себе весьма загадочна: почему французский переводчик неправильно переводит с французского? — спишем это недоразумение на переводчиков русских — но еще интересней, что рассказанный Набоковым анекдот несколько староват — его можно найти в записных книжках Вяземского: «Руссо употребляет где-то выражение *mal-etre*, в противоположность *bien-etre*. И у нас можно бы допустить слово злостояние по примеру благосостояние. Какой-то шутник в Москве перевел французское выражение *bien-etre general en Russie* следующим образом: хорошо быть генералом в России...»

II

На странице 259 книги Андрея Битова «Статьи из романа» (М., 1986) имя Пушкина встречается девять раз, на ней же читаем: «Сказал же кто-то (sic!), что мы любим чужую славу лишь потому, что в ней есть и наша лепта». Наш стилист, безусловно, прав — десять раз поминать Пушкина на одной странице уже, пожалуй, будет и слишком.

«Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос» («Путешествие в Арзрум», глава 2). Вспоминается следующая прелестная зарисовка Вересаева («Вежливость»):

Мы сидели с ним на веранде моей дачки за самоваром. После каждого стакана он решительно отказывался от следующего, но пил уже шестой стакан, конфузился, потел и вытирал лысину палевым ситцевым платочком с зелено-красной каемкой [о, проклятые беллетристы!!! — Л. А.].

Я рассказывал:

- Представьте себе, в Давыдове крестьяне в этом году просят за комнату, за которую в прошлом брали сто рублей — триста рублей!
 — Да неужели?! — изумлялся он.
 — Да.
 — Двиствительно! [так у Вересаева. — Л. А.] Что же это такое?
 — Триста рублей!
 — Какое нахальство! Скажите, пожалуйста, а!
 — Кто это мне рассказывал?... — Вдруг я взглянул на него. — Да позовьте... Ведь это ... вы мне рассказывали!
 — Я-с!
 — Вы?!
 — Так точно!

Жаль все-таки, что умершие принуждены быть вежливыми, и Пушкин промолчал, а не отправил несносного болтуна «по всем по трем» (если пользоваться находкой первого публикатора «Телеги жизни»).

4. ДВОЕ ЗА СТОЛИКОМ

«Я понял, что больше всего мне хочется увидеть Его (sic!), сказать Ему (sic!) нечто (я, пожалуй, и не знал толком, что именно, хотя мы добрый час обсуждали возможность такой беседы с Андреем Битовым за столиком в ленинградском Доме литераторов)».

Откроем поскорее тайну: Он — это Набоков, а не «Тот, с кем Иаков боролся в ночи», отрывок же взят из книги Б. Носика «Мир и Дар Владимира Набокова». Отметим точное выражение «добрый час» — несомненно, менее искушенный стилист написал бы «битый час», но любители Набокова в подобные ловушки не попадают.

Удивительно, что за тем же самым столиком и в тот же самый час кроме встречи двух стилистов произошла и встреча двух пушкинистов: на странице 282 книги Носика черным по белому написано:

«...статья, начинавшаяся строками Пушкина *о грядущей годовщине смерти* (sic!!!), теми самыми строками, которые еще (?) через два десятилетия разбирал на своем уроке американский профессор Тимофей Пнин...»

Хорошо, что встреча Носика и Его не состоялась. Дело не ограничилось бы сломанным бедром.

5. ПРЕДСКАЗАНИЕ

«Когда-то В. Рождественский, когда в конце 20-х годов он еще был поэтом, написал маленькое стихотворение, смысл которого в том, что последние мысли, которые придут к нему перед смертью в голову, вряд ли будут глубокими и важными, а, наверное, пустяковыми, и это даже очень хорошо:

Что мне приснится, что вспомнится
 В последнем блеске бытия,

На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?
На что-нибудь совсем пустячное,
Чего не вспомнишь вот теперь:
Прогулка по саду вчерашняя,
Открытая на солнце дверь.

Мне эти стихи очень нравятся, наверное, потому, что они мне показались очень глубокими, когда я их впервые прочел в седьмом классе».

(Из письма Ю. М. Лотмана Ф. С. Сонкиной от 1.10.93. — Ю. М. Лотман, Письма, М., 1997, с. 450).

Удивительно здесь, конечно, не то, что тяжело больной человек, диктуя (фактически, предсмертное) письмо, ошибается в совершенно незначительных (в таком контексте) деталях (стихотворение, разумеется, кузминское и притом довольно длинное, а Рождественский даже и в 20-х годах поэтом не был; смешение же произошло, вероятно потому, что Лотман в детстве видел этот отрывок из стихов Кузмина в рецензии Рождественского на «Вожатого»). Удивительно сбывшееся предсказание:

Но смерть-стрелок напрасно целится,
Я странной обречен судьбе.
Что неделимо, то не делится:
Я все живу... живу в тебе!

Ведь совершенно ясно, что Лотман не вспоминал об этих стихах больше пятидесяти лет.

6. ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛУХ (ЭКСПЕРИМЕНТ)

Под жалкими, под полуразвалившимися
Колоннами, на ощупь деревянными,
Так мраморными ловко притворившимися,
Ампириными с их гибельными ранами,
Обернутыми в полотно белое,
Ободранное, клочьями висящее,
Под треснувшими от невзгод колоннами,
Глядящими с тоской на настоящее
Из прошлого, вдвоем под полустгнившими
Колоннами сидели мы, под липами
Столетними, колонны обступившими,
Листвой их окружившими и всхлипами... etc.

(Впрочем, далее еще следует «сбившегося», «закатившегося» и «утройвшей»; стихи А. Кушнера из набоковского (!) номера «Звезды» — 1996, № 11)

«...Но артиллерия и пехота второй линии практически к 42-му году от них избавились. Не знаю, кто был тот гений, который изобрел простое и верное средство, но я бы ему поставил памятник (пишу это без всякой иронии). Средство было такое. <...>

Брали бочку, выжигали или вымывали из нее остатки содержимого (мазута, смазочного масла, горючего). После этого аккуратно выбивали одно дно, сохраняя выбитую железную основу. Потом вырезались два куска дерева точно по диаметру бочки, они забивались в нее крестообразно на такой высоте, чтобы положенная на них аммуниция не касалась дна. После этого на образовавшийся крест вешали одежду, подлежащую дезинсекции. Дно немножко поливали водой и железную крышку, обмотав для прочности плащ-палаткой, заколачивали сверху. После этого бочка ставилась на камни и под ней разжигался костер. Через полчаса или чуть больше раскаленную бочку открывали. Из нее вырывался сжатый пар, а на крестовине висело горячее, иногда чуть тлеющее, если касалось стенок, белье. Никакая вошь такого эксперимента выдержать не могла» (Ю. М. Лотман, Немемуары. — Лотмановский сборник, № 1, сс. 23—24).

Впрочем, это уже не *les puces**, а *les poux***, что уже другая история.

* блохи (фр.)

** вши (фр.)

II

Павел Неклюдов

* * *

Каким волнением первоцвета
Мир для него сейчас объят!
Как горько я люблю все это:
Восторженно-стыдливый взгляд.
Порывистые переходы,
Полупризнания испуг.
Как дрема — молодые годы —
В тени, чтобы очнуться вдруг.
И сам не знает, сам не верит,
Чего он хочет, что влечет
Его ко мне, в какие двери
Войти пытается... Почет?
Гипноз ума? Ловитва славы?
Магнит духовности? — Ну-ну!
Но я-то, медиум лукавый,
Его подсказкой не спугну.

* * *

Вот, скажем, было бы у меня миллиона два
Или три, и тогда неужели мне
Был бы нужен именно ты? И Канарские острова,
И парижские улочки, и мгновения наедине
Разделить, если честно, нашел бы с кем — поумней,
Понежней, поподатливей, посмазливей, по... Так ведь, так?
Значит, вот что в подкладке привязанностей-теней,
Наших чувств! — Обстоятельства, быта бытийный брак.
Только вдумать надо, и можно не переживать,
Что неделями не звонит, шатается черт-те с кем.
Просто скудость, глупость, убожество (наплевать!)
Жизни, выпавшей нам на долю. Будь глух и нем,
Когда все это перевариваешь, в себе
Обнаруживаешь брезгливо — сейчас и впредь.
Потому что и три миллиона долларов не так уж много
в судьбе
Меняют, не так решительно, чтобы не помнить и не жалеть.

* * *

Один из тех, кого я любил, располнел не в меру,
Другой похудел и теперь похож на сушеную рыбу...
Дико, что я их по-прежнему как-то люблю, хотя эру
Новой привязанности пережил только что, и глыбу
Неразделенных страстей еще не успел обрушить
В море все сглаживающей печали, в Море Забвенья...
Наверное, как-то там сами собой договариваются души
В отсутствии наших тел, стремленья и понужденья.
И вот как никогда спокойно и благодарно
Память рисует мне подурневший облик тот, столь желанный,
Что даже странно, понимаете, даже странно,
Почему нет боли, а только голос нежности покаянной.

* * *

Все такое же, как у тебя, лишь помоложе,
Нового ничего не обнаружишь. Тогда на кой
Тебе этот жар, вождедеющий к смуглой коже,
К плоти — из-под рубашки выбившейся — нагой,
К шее гладкой, теряющейся матовыми позвонками
В охватившем ворота, к стриженным волосам:
На затылке — дыбом? И что бы теперь руками
Ты хотел извлечь из всего из этого? — Полно, не знаешь сам.
Не себя ли? Дабы понять, наконец, потрогать,
Кто ты есть или был когда-то. Ах, этот бред
Обнаруживает лишь ключицу, предплечье, локоть,
Можно дальше, но... Помнишь, в школе такой предмет —
Анатомия. Видно, учились из рук вон плохо,
До сих пор не сдали какие-то там коллоквиумы, хвосты...
И все ждешь — подсказки? — не знаю... скорей, подвоха
От угрюмой жизни, понять которую — нет — не способен ты.

* * *

Лучше остаться там, в вышине
Недостижимой звездой,
Чтобы питал уважение ко мне,
Если любви я не стою...
Там, в вышине, где огни холодны,
Там, где лишь время, пространство,
Так высоко, что уже не видны
Пошлость и непостоянство
Чувств человеческих. — Я не виню...
В космос пустившись свободный,
Что ж, нацепляй, осторожный, броню,
Предпринимай что угодно.

Ведь не достать, не потрогать рукой
Свет неподвижно-летающий.
Лучше остаться звездой, покой
Свой одиноко хранящей.

* * *

Дурак! — Хотя б иллюзию продлить
Дал месяц — два, хотя бы надышаться...
Все правильно: жевать, жиреть вам, жить,
Плодиться, как велел Он, размножаться.
Но здесь любовь вне предписаний, здесь
Она не держится ни на каких основах,
Она сама... бесцельно... просто есть,
И в чистом виде повторится снова.
И все, что между вами, только вам
Возобновлять с начала ежечасно,
Не веря уже сказанным словам.
Как замечательно! Как, в сущности, ужасно!
Се — человек, и, знаешь, страсть твоя —
Усилие лишь быть им. Эти дали
Туда ведут нас из небытия,
Где все же дух важнее гениталий.

* * *

Очень полезно представить себе, каким через десять
Или пятнадцать лет будешь ты — с брюшком и тонзурой, —
Чтобы с ума не сойти, не сорваться, не накуролесить,
Не наломать, знаешь, дров с этой ревностью, страстью хмурой.
Нет! Легко отпустить: плыви, кораблик бумажный!
Лучше конечной цели изгибы реки кривые.
И без надрыва, и без обид вспоминать тебя не однажды,
Как в раннем детстве птичку, увиденную впервые.
Где же те перышки яркие, грудка ее золотая?
Нет, я люблю тебя, не волнуйся, люблю до смертного пота,
Хоть и теряется смысл всего этого, времени уступая,
И облетает тончайшая юная позолота.

* * *

Что не любить оно не может...

А. С. Пушкин

Не может не любить, не может... Боже мой!
Зачем беспомощно так: «не любить не может»?
Не усмиренное и возраста тюрьмой,
И тьмой разлук, их только множит, множит.

О ненасытное! До самого конца
Все будет ждать, обманываясь, взглядом
Ощупывая каждого юнца.
А, главное ведь, ничего не надо
Ни от кого... Там где-то, так давно
Не доиграл, не досмеялся, в драках
Не докрутил бездумное кино,
В котором мир волшебнo одинаков
Для каждого. И вот не облекла
Плоть общая, и манит, и смущает.
И жизнь который год из-за стекла
Все еще что-то шепчет, обещает.

* * *

Я написать о тебе не могу,
Так как типаж не понятен:
Не Ипполит на цветочном лугу
В метинах солнечных пятен.

Не Антиной, отводящий свой взгляд —
Гроздь в волосах винограда,
Тот, по которому вместе скорбят
Лаций, Египет, Эллада.

И не Тристан, хоть глаза зеленой
Моря, чьи волны, буруны
К ней заывают и шепчут о ней
Ночью предательски лунной.

И уж совсем не подходит портрет
Фаустуса-Дориана,
Скрывшего каждый извилистый след
Времени глянцем обмана.

Кто там еще? — Сумасшедший дружок
Пьяного вечно Верлена?
Или же венецианский божок,
Вестник смертельного плена,

В адриатической пустоте
Призрак минутного чуда?
Нет, все не то и не там, и не те.
Ты ж в никуда — ниоткуда.

Только за нас я их благословлю,
Всех непричастных, без страха.
Ибо сильнее Адриана люблю,
Бережнее Ашенбаха.

* * *

Совсем чужой — и скучный, и чужой.
Зачем тогда в разлуке две недели
Ты, сердце, перегруженной баржей
Плывешь, на все наталкиваясь мели?
Как тяжело несет тебя река,
Но скорбь пока легка, неглубока...
И ожидаешь, будет ли твоим,
Придет ли снова. Впрочем, что двоим
Нам разделить? Не знаю, эту скуку
И чужость жизни? Разве что... Бог с ним.
Но с ним переживаю я разлуку.
Какой секретный код в себе несет
Чужая плоть, что исцеляет — вот
Тоску души, подхваченной потоком
Любви? И мне покоя не дает
Мысль о тебе, ненужном и далеком.

* * *

После лета останутся только стихи,
Да на коже следы от загара,
А от всех твоих планов, надежд, чепухи
Вожделенной любовного дара
Ничего не останется. Август к концу,
Как сентябрь быстро сделался скучен.
Грусть такая — хоть вой. А ему, подлецу,
Дела нет до того, что измучен
Я любовью своей свыше меры и сил,
Что смертельная здесь подоплека,
Что вчера уезжая, с собой увозил
Он мои упования на Бога.
И ни с чем теперь, ночью, оставшись, душа
Сном спокойным забыться не может.
Только перебирает, слова вороша,
Объяснения с тенью и множит.
Непонятен упорный, бессмысленный труд,
Беспросветное это метанье
До утра. Разве из пустоты позовут,
Учащая, сбивая дыханье?

* * *

Без тебя-то как мне будет худо,
Даже лучше не думать сейчас.
Ты как будто меня из-под спуда
На шесть месяцев вынул и спас,

Чтобы чувствовал жизнь, как другие,
Ну, хотя бы отчасти родной.
Вот от этой теперь ностальгии
Мне не отгородиться стеной.
Потому что в меня прорастала
Твоя молодость и красота,
Потому что смертельно устала
Ждать душа разрешенья поста —
В целокупном своем ликованьи
Мир принять как он создан и свят:
Без изъятий — все линии, грани.
И высокие звезды горят.

Василий Ковалев

(Читая Библию)

Глупее он не мог придумать: бац! бац! —
зажигаются звезды, таинственные такие.
Каждое слово сползает на весь абзац,
с верхней строчки на все остальные.
Господи! как хорошо, что в любимой позе
можно лежать, позабыв обо всем, ночью,
в анабиозе, спасительном анабиозе,
отвернувшись к стене, спокойно и молча
беспричинные слезы стирать с лица,
а утром кнопку нажать, воевать с одеждою,
прислушиваясь, как весело трещит на плите яичница,
ехать в метро, ощущая, что всё по-прежнему...

* * *

Снега крошащийся сахарин.
Грязные дети, цепляющиеся к какому-то хлыщу.
Тусклый свет этих... да! — фонарей. Совсем один,
что в этом городе я ищу?
Может быть, смысл того, что грязь
в карманах куртки, семечек приставучая шелуха...
Дрожу от холода, испуганно кутаясь
в пепельно-серые потроха
уходящей улицы из-под ног. Светло-
светло под вывеской, ариэлевый дым
отлетает к закрывшемуся метро.
Неровной поступью, сорок вторым
размером обуви в снежные лужи
шагом спортивным ступаю, упругим.
Мимо идет женщина с высоким мужем —
лица мелькнули, перепуганные друг другом.

* * *

Тяжелые, не влезающие в размер,
обмерзшие окна трамвая, в котором еду...
Ворочая масштабы небесных светил и сфер,

я сам уподобился скользящему бреду
в толще бездонной. Вдоль улиц хлам
тянется, темнота давит, но это пока
бессчетное количество вывесок и реклам
не разбудит невидимая рука
пожилого служащего. Я готов понять
эту жизнь (аэропорт «Пулково»?)
грохочущую. Каждой клеточкой тела своего обнять,
измерить глубину молчания гулкого,
в котором ничего (представьте себе только —
ничего!) не слышно.
Отражения нету. Голова взмокла
под шапкой. Трамвай хрипло дышит
на боязливо позвякивающие стекла
вагона, не затрагивая ту мою
частичку, которая нервничает по утрам, целуя
вечером... А еще я думаю,
что, если это всё, то никогда не умру я.

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Ветер, поднимающий к шее плечи,
расцеловывающий в лицо, ни о ком
не вспоминающий, — так проще, легче...
Как я вам с поднятым воротником?
В меру своей испорченности имеем
радость — поищите праведника такого, как я!..
Мне, возвращающемуся Одиссеем,
в лифте сосед говорит, что толстеет, что кость широкая.
Это времени, меняющего расположение звезд,
покачивание, тихое покашливание со спины...
Вот она — видите? — поднимается во весь рост,
форма, преобладающая над содержанием, сны —
черно-белые, заспанные, вчерашние,
которые память (навсегда ли?) забыла.
А когда-то гуляли, непрочитавшие,
ничего не понимавшие, — хорошо было...

* * *

Ах, все начинается с наступлением ночи,
с запаха полотенца и едкого мыла
от теплого тела. Незнакомое очень,
сердце постукивает — днем хитрило,
притворялось, выкабенивалось, а теперь вот
попритихло, как будто пришли родители.
В локтевых суставах перьев

легкое покалывание... Неужели видели?
неужели расскажут теперь? Щекоча,
отутюженное похрустывает белье —
одеяло, сползающее с плеча,
подушка упавшая — не до нее
стало телу, сгорающему не то в огне,
не то в самом себе, не то мы сами
всё придумали это... а в окне —
галактики, развешенные вверх ногами.

* * *

Утро от ночи принимает упреки и пени,
в халатик одетое утро раздвинуло шторы,
на сером асфальте валяются серые тени,
вид из окна открывается — белые горы
хлама и мусора, куда ни помотришь, сумка
неба пустая вешается на шею мне...
На столике недокурная сигарета, рюмка,
опрокинутая нетерпеливым движением
вчера вечером, — только теперь заметил,
что вино дорогое в спешке на палас пролили,
что быстро разворачивали конфеты, что пепел
стряхивали в статуэтку «Мир и Изобилие»,
что в календаре обводили какие-то числа,
договаривались о встрече, кричали, что трезвые, что
не бредим.

Мысли ворочаются устало и кисло:
давай ляжем спать, давай никуда не поедем?..

Михаил Окунь

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ...

В ночь с пятницы на субботу Мартынычу приснился сон, который поначалу шел успешно, а завершение имел скверное.

Снилось, что очутился он в большой комнате, представляющей собой сплошной диван с розовой атласной обивкой. А посреди гигантского дивана вовсю происходил групповой секс.

«Порнуху снимают!» — восхитился Мартыныч, однако, оглядевшись, ни камер, ни софитов не приметил.

Между тем, две девицы — коротко стриженная блондинка и длинноволосая брюнетка — стояли, как выражался Тит Лукреций Кар в своей бессмертной поэме «О природе вещей», в «позе четвероногих». Позади этой парочки помещался довольно упитанный мужчина лет уже пятидесяти и неутомимо изображал швейную машинку поочередно с каждой из красавиц — причем строго дозированно: полторы минуты с одной, полторы с другой, и так далее.

«Рэнди Вест!» — ахнул Мартыныч, узнав своего многолетнего кумира, ветерана американских фильмов класса «Максимум X».

Девицы наперебой восклицали на чистом иностранном языке: «Фантастик!», а кумир как резолюцию накладывал — но почему-то по-немецки: «Натюрлих!»

Внезапно он заметил глазающего Мартыныча и, не снижая профессионального темпа, приветливо ему кивнул. Мартыныч слегка удивился, но решил, что если уж столько лет он паялся на упражнения Рэнди, то и Вест должен был заприметить его у экрана.

Тем временем актер подмигнул Мартынычу — мол, не робей, коллега! — и показал подбородком на девиц, которые до отказа разинув рты бешено шуровали языками друг у друга в полостях (ротовых же, естественно).

Мартыныч похолодел. «Свершилось!» — подумал он. Сама легенда всемирного порно как равного приглашает его подключаться! Члены Мартыныча, в том числе и основной, онемели...

Однако, требовалось взять себя в руки. «Прорвемся!» — решил Мартыныч, — девчонки должны помочь, а там разойдется». Он скоренько скинул нехитрое обмундирование и направился к передней части упряжки. Блондинка и брюнетка перестали лизаться и оглядели приближающегося Мартыныча — как ему показалось, весьма благосклонно.

Когда Мартыныч был уже в шаге от них, обе девушки снова открыли рты. «Красавицы... — чуть не заплакал Мартыныч от счастья. — Богини...»

Внезапно брюнетка вульгарно расхохоталась, а блондинка на знакомом до боли языке, без всякого акцента сказала:

— Спрячь свой вонючий обсосок, козел драный! И вообще, пошел вон отсюда!

Мартыныч опешил и умоляюще посмотрел на Рэнди. Но тот лишь кривовато ухмыльнулся и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Извини, друг, для тебя роли в этом сценарии не предусмотрено». А брюнетка встряла совсем по-нашему:

— Ты чё, не понял?!

И Мартыныч от дикой тоски пробудился в семь утра, что для выходного дня было полным нонсенсом.

Утренние часы тянулись томительно, и чтобы хоть как-то развеяться, без десяти девять Мартыныч отправился к открытию в пивной бар.

Заведение размещалось на первом этаже многоэтажного дома. Мартыныч выпил маленькую кружку «Невского», поглазел на барменшу Люду и направился к выходу. Как только он сделал первый шаг из дверей бара, рядом с ним шлепнулся кусок фанеры.

Мартыныч задрал голову и увидел свесившуюся с балкона пятого этажа толстую пожилую башку человека типа отставника. Бывший воин, видимо, производил уборку территории — и, поймав возмущенный взгляд Мартыныча, вежливо, но твердо попросил:

— Пойдите, пожалуйста, пять минут.

«Для более уверенного попадания, что ли?» — подумал Мартыныч и вошел в парк.

Парк являлся бывшим пустырем с чахлыми деревцами, прудом (в прошлом котлованом) и редкими лавками. Но поскольку неподалеку располагалась интуристовская гостиница, в траве парка обычно лежало довольно много отечественных «голосистых», как когда-то наименовал их Мартыныч.

«Голосистые» представляли из себя стройных девушек, заговаривавших без лифчиков. Их трусы были составлены из двух веревочек — одна охватывала пояс, другая была продернута от живота к спине через промежность и межъягодичное пространство. Иногда компания из двух-трех «голосистых» взаимно поглаживала друг друга по спинкам, ножкам и шарикам, изредка почмокиваясь. Заговаривать с «голосистыми» на предмет знакомства было делом абсолютно бесполезным — они были ориентированы на иную публику.

Поплутав бесцельно среди «голосистых» тел, Мартыныч пошел домой. Открывая дверь, он понял, что за время его отсутствия прибыл Сидящий. А войдя, убедился — Сидящий уже сидел. На кухонном столе перед ним аккуратно стояла опустошенная «Столичная», вторая была опорожнена на две трети.

Сидящий был старшим братом Мартыныча (то есть, в широком смысле, тоже Мартынычем). Тридцать лет он проработал в

ОТК режимного завода. И ежедневно в течение этих лет (за исключением, конечно, праздников и выходных) приходил в свой закут, раскидывал на столе техническую документацию, принимал пару стаканов технического же разбавленного, и сидел.

Со стороны создавалась полная иллюзия бытия: начальник ОТК сорок шестого цеха занят изучением важных бумаг. И никто даже приблизиться не мог к постижению хотя бы малой доли всей глубины погружения Сидящего в себя!

За долгие годы у Сидящего выработалась на удивление основательная поза для сидения. Расставленные локти упирались в столешницу, придавая устойчивость корпусу, голова держалась в полунаклоне, но на грудь не свешивалась, глаза оставались открытыми, но остекленевшими, ибо обращены были внутрь.

Выйдя на пенсию, Сидящий стал проводить большую часть года на даче. Но там супруга сильно докучала ему, не давая возможности нормально сидеть.

Время от времени он наезжал в город, якобы для того, чтобы помыться. Однако процедуру эту осуществлять удавалось далеко не всегда, потому что Сидящий садился и сидел суток двое, после чего, ожесточив нутро, вновь возвращался на огороды.

«Но, — возразит вдумчивый и внимательный читатель, — для полноты приближения к ушедшей реальности Сидящему должно нехватать наличия техдокументации». Раскрою секрет: она у него была!

Перед собой Сидящий постоянно выкладывал одну и ту же пачку затрепанных синек с надписью в угловом штампе «Изделие БК — 188/Р. Сборочный чертеж», спертую незадолго до окончательного выхода с родного предприятия. И теперь, благодаря этой, казалось бы, бессмысленной и к тому же отчасти небезопасной акции, душа его во время сидения пребывала в полной гармонии.

Остается лишь добавить, что собутыльничества как явления Сидящий не терпел, а закуску использовал крайне слабую, как и положено в служебно-полевых условиях. Мартыныч, не ожидавший прибытия Сидящего, робко приблизился к нему. Тот поднял на брата натруженный наблюдением бездны взгляд и ровным голосом сказал:

— Не суетись, мореман! Сгоняй еще за парой.

И Мартыныч отправился за водкой.

...А в ночь с субботы на воскресенье ему вновь приснился Рэнди Вест. Был он в строгом черном фраке, цилиндре и при перчатках, а под руки держал двух давешних барышень, одетых в платья с фижмами и чепцы. Мартыныч поклонился и с чувством сказал:

— Доброго здоровьичка, Рэндольф Иваныч! Погодка-то нынче...

А тот покосился на потертый скюртучок Мартыныча и укуренно покачал головой:

— Экий ты, братец, однако... Племянницы мои погостить приехали к дядюшке из Унечи Брянской губернии, я их представить тебе хотел, а ты эдак оконфузился. Стыдно.

Несмотря на полученный выговор, проснулся Мартыныч в прекрасном расположении духа, и, съев яичницу, направился в парк.

Гуляя, смотрел на солнышко, не замечая «голосистых», удовлетворенно припоминал, что за ночь Сидящий ударно проработал почти всю документацию, и приговаривал: «Что за день! Никаких отрицательных эмоций...»

1997

Денис Датешидзе

ВАРИАЦИИ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ

* * *

N. U.

*Я помню ночь, когда мы с вами,
Обнявшись, по Фонтанке шли,
И были — кажется вдали —
Совсем гругими существами.*

В прошедшем (тем оно и мило)
Сомнений и обиды нет...
Веселье смелое!.. Рассвет...
И на обед — одна текила.

* * *

(обыкновенная история)

Общительность и отзывчивость одного моего знакомого
(— Зайдете ко мне? — Зайду... — Не поздно ли? Не устали?..)
Объясняло безденежье, бездомность и то, что скованно
Он предлагал намеками, чтобы мы вместе спали.

Я поначалу мягко отводил эти полуласки:
Маленькие поцелуи, прощальные прикосновенья...
Но как-то по ходу дела стали слабеть раскраски
Социальные. И чуть позже — забота о гигиене.

А однажды, с порога, он весело мне сказал:
«Я хочу быть твоею девушкой этой ночью».
Мы хорошо поужинали; выпили вина бокал...
Или по три бокала — не помню точно...

«Все вышло как-то легко» — приблизились, обнялись,
Увидели в глазах друг друга выстраданное понимание, —
Отправились в душ и дальше... В презервативах слизь
Я спустил в унитаз и уснул на диване.

Утром проснулись. Я принес ему «завтрак в постель» —
Остатки кофе, печенье; заварил себе чая,

Пил вкусный чай. С лимоном... Без страха и без потерь.
Надрывных воплей из ада в сердце не различая.

А когда мы простились, стало радостно! — Первый миг
Новой жизни, в которой доступно мужское тело!..
Я проходил случайно мимо зеркала — и преник,
Потому что в нем что-то тянуло! — горело! — грело.

И вот уже виден был во взяде вопрос-расчет:
«А как я сегодня выгляжу?..» — Фразочки типа: «С вами?.. —
С удовольствием!» — Женское! То, что внутри течет,
Но иногда наружу выбрасывается рывками.

И я почувствовал, что очень бы скоро привык,
Начал бы говорить тоном из анекдота,
Превратился бы полностью в «такого-то» и «того-то».
Это — определенность. Так устроен язык.

...Больше его не видел. — Себя убеждая в том,
Что не трусливо, а твердо. Гордость ли виновата?..
Но это было красиво! Перед любым судом.
Готов подтвердить: «Счастье!» И может быть, что когда-то...

Вздувшееся — «Сейчас!» — сдавливаю — «Потом..»

* * *

«Ну ладно, пока, я уже пойду,
Если чем обидел — прости...»
Сколько тысяч лет нам терпеть в аду
За все эти глупости?

Интересно — жгут ли сухим огнем?
Или в жирном густом борще
Варят? Только если нигде, ни в чем —
То зачем это все вообще?

Нет итога, сетки координат —
«Лучше», «хуже» — одна фигня...
Сам себе придумай, что виноват,
Сам себя прости; так вперед-назад —
До последне-любого дня.

...И поэтому кажется: каждый шаг —
Лишь вопрос, лишь охрипший крик!
Наказание было б ответом... «Ляг...»
Исчезаю, но вот — двойник!..
Где же рассуждения? Мозг размяк.
Не хватило ни слов, ни книг...

* * *

«Душе хотелось бы быть...» Но кем?
Звездой?.. Женой в гареме?..
Цветком в саду?.. — Ото всех дилемм
Избавиться. Скинуть бремя.

Чтоб каждый день говорили: «Так».
«Не делой то». «Делай это».
Наладить с Богом прямой контакт. —
Где адрес? Сайт интернета?..

Как будто мало Заветов всех,
И пользоваться лекалом
Немножко скучно. — И свой огрех
Не понят «родом лукавым»...

Так что же? — Ночью по стенке вкось —
Вдруг лучик из коридора...
И сразу дверь проверять пришлось.
Вот так же маньяка, вора

Боишься. Встреча была близка,
Но губы шепнули сразу:
«Нет, не сейчас!.. Подожди пока!»
И Он уступил отказу.

А если б две тысячи лет назад
В тот день мы в толпе стояли, —
«Да будет, — кричали бы все, — распят!»
Спроси сам себя: «Не я ли?»

* * *

День сожжен. И в темноте, как в саже,
Все, что было — воздухом, огнем! —
Не узнать. Но почему-то даже
Жаль, что скоро мы ее стяхнем...

Тело — бестолково, беспокойно,
И с душою — не своей, ничьей —
Ищет что-то... Чувствуешь: живой, но
Не совсем... Ну, как бы поточней? —

Ежась в скользкой пустоте квартиры,
Маешься, людей не отыскав?..
Так же вот, наверное, вампиры... —
Крови изменяется состав,

Зараженной безнадежной жаждой —
Не любить, а смешиваться лишь...
Нежность?.. Не смей!.. И только каждый
Раз сильней. Никем не уголишь!..

* * *

Раньше бывало посмотришь на небо — захватит дух!
Этого теплого, темного было все время мало.
Ватное одеяло? Нет, птичий... нет чей-то пух!
Что же теперь с ним стало? Куда оно вдруг пропало?

Видишь: над сонным городом сколько угодно — сплошь:
Сини и серы, сини, серы и сине-серы.
Зренье расфокусировано? Взглядом не достаешь?
Обыкновенные, то есть, явления атмосферы.

Так, говорят, акробаты внезапно чувствуют страх —
Рушится равновесие. Падают на арену...
Кто-то камешек бросил. Чашечки на весах
Быстро сместились... Любил. Какую найти замену?

«...Надо только припомнить точно! — В себе самом...
Он же остался?.. Память — как воскресенье. Дай же!..»
Господи, что бормочу я? — Глупости в основном.
Оптимистический вывод. «Ведь надо же как-то дальше...»

* * *

Страсти влюбленных, их вздохи и страхи,
Ахи — в программе продления рода —
Функциональны, как у росомахи,
Выдры, бобра, утконоса, удода.

Это же, как говориться, «в натуре» —
«Я без тебя — Люда? Света? Оксана? —
Ну, не могу!..» — Вон к намазанной дуре
Льнет... Чем он хуже Ромео? Тристана?

Дарвин и Фрейд объяснят без запинки —
«Как ни верти, подоплека все та же» —
Все наши мысли, стихи и картинки,
Архитектуру и музыку даже...

Что до изысканных тех отклонений —
В них ничего не добавлено, кроме
Страшной похожести — бедер, коленей
Губ... (Я гостил месяцами в Содоме.)

В общем, смотри, срок сеанса не дожит —
 Фильм с хэппи-эндом... Без всякого энда!
 Дети родятся... Достоинно продолжат...
 Видишь ли, девочке надо бой-фрэнда!..

По магазинам — квартирам — аптекам —
 В спектре — хоть от Антиноя до Ноя —
 Скучно любить! Скучно быть человеком!
 — Но ни на что не решиться иное...

* * *

На плоском пакетике (в нем — два кондома)
 Блондинка банальная обнажена.
 В прищуре — притворный испуг и истома...
 Попробуй представить, что это жена. —

И тут вождение — «пшик!» — испарится:
 Не приз и не выигрыш — право; ничья...
 Нет, лучше — курчавая «всадница», «львица», —
 Твоя ненадолго, а в общем ничья.

А в общем... Дурцакий вопрос — принадлежность.
 Сегодня квартира, бутылка, кровать
 Имеются. Щедрая-жадная нежность, —
 «Высокая-низкая». Мне наплевать.

И если бы задан вопрос был в анкете:
 «Где в обществе место твое?» — Между ног...
 Короче, за ноги! Любые... Вот эти!
 За глупые песенки в несколько строк,

За наши повадки кошачьи и козьи,
 Журнальчики, пленочки, прочие ню...
 И преданность — плоти и форме... И позе.
 «Люблю тебя, милая! Не изменю».

* * *

Легкий, свежий и нежный... — таким словам
 Тесно будет в одном ряду,
 словно соприкоснувшимся островам, —
 Надо это иметь в виду.
 — Нет, не ветер, не вечер, а где-то там...
 В прошлом? в будущем? — не найду.

— Там, куда не пробраться: затор, завал.
 Почему же я так согрет

Их соединеньем? Я их не звал. —
Пожелание ли? Совет?
Или кто-то загадку мне загадал?..
Хорошо, что ответа нет.

...Только, знаешь?.. Сделать бы долгий вдох
И потом — не боясь прослыть
«Легким, свежим и нежным» (как слог мой плох!) —
Словно между двух скал проплыть...
Проскочить... кого-то застать врасплох...
Непонятно? Не может быть!

Сергей Денисенко

«GESCHICHTEN, VOM TEUFEL ERZÄHLT» («ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ ЧОРТОМ»)

А. П-ну, переводчику Рильке

У каждого человека, господа, есть свой чорт¹ и свой ангел. (У каждого хорошего человека.) Чорт не обязан вам являться, — но, поверьте, знать о его существовании все-таки необходимо. Вызвать своего чорта элементарно (см. книгу рецептов в конце). Те, кто, вызывая Мефистофеля etc., полагают, что явившееся им создание и есть самый главный, самый сильный и самый страшный, глубоко заблуждаются. Самый никогда не будет заниматься вашими мелкими делишками, и плевать ему на вашу душу, вашу кровь и всякие там договоры. Вашими делами занимается ваш личный чорт. Зачем он нужен, спросите вы? На это я могу сказать: а зачем нужны вы? Все устроено... Помните об этом. Помните и тогда, когда три раза сплевываете через левое плечо или стряхиваете туда пепел. Вы считаете, что живете под крылом своего ангела-хранителя, а о чорте-хранителе как-то забываете. Но если хранить светлое, то темное хранить надо еще крепче. У кого нет темного?

С чертями везет не всем. Одним достается важный чорт, другим — просто милый, третьим — вообще недотыкомка. А с недотыкомкой жить плохо... Впрочем, недотыкомки — это для гнусных личностей.

У кого нет чорта?

Мне с моим чортом повезло. Он важный господин, и в своей конторе занимает далеко не последнее место. Иногда ему приходится выполнять кое-какие мелкие поручения — но какому начальнику не доводилось размениваться на мелочь?

Он толст, но грациозен. У него приятные черты лица. Он постоянно пьет пиво и курит трубки, вследствие чего мне перепадает хороший голландский табак и дармовое пиво. Он — типичный немец. Он постоянно перемежает свою высокопарную речь грязными немецкими ругательствами. Я не понимаю, как в нем уживаются снобизм с добродушием, эгоизм с расточительностью, пунктуальность с разгильдяйством, распутство с преданно-

¹ Автор почему-то настаивает на архаичном написании. — Примеч. ред.

стью, чувство юмора с чванством. Он великолепный рассказчик, но его рассказы грешат излишней нравоучительностью. И еще: он очень любит говорить о своем хвосте. Впрочем, как всякий чорт. Манера моего чорта постоянно колеблется от высокопарно-надменной до угодливо-заискивающей — и наоборот. То же можно сказать и о его поведении. Я так до конца и не уяснил, чем он там у себя занимается: спектр его деятельности весьма разнообразен...

Хватит, господа! Я не намерен больше обсуждать своего чорта, holen mich zehn Teufel!

ИСТОРИЯ О ТРУХЛЯВОМ КРЕСТЕ, РАССКАЗАННАЯ ЧОРТОМ В ПЯТНИЦУ, 13 МАРТА

Herrn Dr. V. N. Yuzh-off gewidmet

Это случилось, когда я сидел за столом в своей комнате и изучал договор с издательством. Когда я дошел до пункта, в котором «стороны учитывают форс-мажорные обстоятельства», с пространством что-то случилось: воздух передо мной потемнел и сгустился, и я увидел непонятно откуда возникшего незнакомого господина. Он был прилично одет, в плаще, при шпаге. И не без приятности в лице.

— Guten Abend!

— Guten Abend! Вы пришли за договором? — спросил я.

— Вот еще, — отвечал он, приподняв бровь. — Так, научить тебя кое-чему. Я — твой чорт. Можешь не креститься, это не помогает. — И ухмыльнулся. — А ты уютно устроился, — и он одобрительно оглядел мой массивный письменный стол, заваленный книгами, бумагами и китайскими безделушками. Затем перевел взгляд на каминные часы работы славного Legoу и промолвил: — Полночь уже наступила. Пора.

Чорт удобно расположился в вольтеровых креслах, выпятил нижнюю губу и насмешливо уставился на меня:

— Что, не нравится картинка из Достоевского? А ведь присутствие чорта в комнате должно быть приятственным явлением для человека с такой мерзкой сущностью, как у тебя. Отрастил мефистофельскую бородку, занимаешься черт-те чем, воображаешь себя Фаустом — вот и получи чорта. Я, между прочим, не галлюцинация.

— Что вы, что вы, я вас за галлюцинацию и не держу. Это я — галлюцинация...

— Не умничай, — оборвал он меня, — только бы себя пожалеть! Может быть, это и романтично, да уж больно занудно. Меня же от этого тошнит. Начнем, пожалуй!..

Итак, я явился тебе в пятницу, 13 марта, дабы поведать весьма поучительную историю о трухлявом кресте, — завыл чорт. — В финале, как водится, будет мораль!

— И катарсис будет в этой истории, мессир?

— Катарсис? Возможно. Но только у тебя!

— Спасибо... Кстати, как вас называть — Мессир, или Ваше Превосходительство?

Чорт досадливо поморщился:

— Тыфу, какое эпигонство! Ты — ходячая пародия на неоромантиков! — Вытянув до невероятных размеров левую руку, он больно ударил костяшками пальцев по моей голове. — По-твоему, я должен хромать на левую ногу и говорить с немецким акцентом?

— Ну, — отвечал я, потирая ушибленное место, — хотя бы с эстонским...

— Так вот, — продолжал чорт, любезно демонстрируя эстонский акцент, — не кажется ли тебе, что чорт, сидящий в вольтеровых креслах и рассказывающий историю о кресте, — это нонсенс?

— Ах, — отвечал я, вздохнув, — вся моя жизнь — нонсенс... И тут же снова получил костяшками пальцев по голове.

— Распространенная версия, утверждающая, что черти боятся креста — полная чушь. Впрочем, наш крест — лишь метафора, да к тому же он еще и трухлявый. Ist's klar?

— Ja, mein Herr!

— Ich sag es dir: ein Kerl, der spekuliert,

Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide

Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt.

Und ringsumher liegt schöne grüne Weide.

— А из репертуара Марлен Дитрих вы что-нибудь можете? — попросил я.

— Я начинаю историю! — торжественно возгласил он. — Эпиграф! — И чорт загудосил, как пьяный пономарь:

— Всякий путник, что бредет по пустыне жизни,

Натыкается на свой крест!

Натыкается на свой крест! (многозначительная пауза).

Иногда этот крест — трухлявый!!! (пауза и троекратный взмах руками).

Трухлявый крест легче нести (физически).

Трухлявый крест легче нести физически!

Но зато как бессмысленно!

Перевести на немецкий?

— Текст и так вполне доступен моему пониманию. И даже поэтичен.

— Еще бы, — горделиво приосанился чорт и сунул мне под нос диплом об окончании геттингенского университета, во вкладыше которого в графе «Поэтика и стилистика» стояло «ausgezeichnet». — Поставь что-нибудь из Вагнера... — попросил он мечтательно.

— Может, не надо... — отвечал я с сомнением.

— Ставь, ставь, я ведь как всякий немец, сентиментален. Да и история у меня нравоучительная...

И я поставил ему «Тангейзера» — я уважительно отношусь к сверхъестественным силам. Вагнер поспособствовал тому, что высокий стиль моего собеседника сменился на псевдо-задушевный.

— Так заведено, — говорил чорт, — что каждый человек мечтает обрести свой крест, дабы нести его всю жизнь. Некоторым крест дается с рождения, другим (разгилядям) в конце пути. Кое-кто умудряется тащить несколько крестов сразу, да еще по дороге прихватывает оброненные кем-то крестики. А если ничего не попадается, то кресты просто покупают — это один из пунктов дохода нашей фирмы. Я давно лелею проект продажи крестов в рассрочку, что, к сожалению, противоречит идеологическим установкам нашего руководства. Впрочем, ладно... Должен ли я рассказать про твой крест?

— Да, что там... — смутился я, и чорт благосклонно улыбнулся.

— Тогда я покажу тебе чужие. — Он взмахнул руками и пробормотал что-то на неизвестном мне языке.

В одно мгновение комната растворилась, и с высоты птичьего полета нашим взорам открылся пейзаж: заснеженная местность, изрезанная оврагами, с искривленными черными деревьями и аккуратными немецкими домиками под красными черепичными крышами. Мрачные люди в серых одеждах влачили свои тела, увязая в глубоком снегу. Каждый из них нес свой крест. У одних крест напоминал пивной бочонок, покрытый подвальной пылью, у других — изъеденную мышами каменную книгу (некоторые ухитрились тащить по несколько книг сразу, а пожилой мужчина — у самого горизонта — имел еще и по связке в каждой руке). Про возки с дерьмом я не говорю, их тянул каждый культурный человек, пребывая в уверенности, что везет золото. Несли также вязанки подоженного хвороста и нескончаемо-длинные лестницы в небо; хрустальные дворцы и стеклянные замки; пачки писем, обмотанные воспоминаньями, и букетики засушенных роз. Несли медные трубы, фальшивящие славой, горькую прошедшую любовь и сладкую надежду. Одна женщина тащила на себе несколько громоздких скелетов, но вздыхала о будущей любви. Словом, люди несли предметы, без которых жизнь не бывает в радость. Когда же пути их пересекались, они останавливались и непринужденно болтали о тяжести своих крестов.

Картинка была яркой.

— Теперь ты увидел? — спросил чорт. — Но ты увидел только форму! Прежде, чем поведать мою историю, я должен научить тебя прозревать содержание! — С этими словами он так сильно ударил меня костяшками пальцев по голове, что я потерял сознание от боли. Когда же я вновь открыл глаза, видение мое изменилось. Нет, я не обрел способность видеть человеческую сущность, я научился видеть сущность человеческого креста.

— Зря ищешь, — чорт положил руку на мое плечо, — тухлые кресты попадают не часто. Присядем сюда.

Мы уселись на краеугольный камень.

— Подложи-ка вот эту шитую серебром подушечку и обмотайся как следует шарфом, а то простудишься, — он вдруг стал заботливым. — Вот так. Слушай мою историю.

Я знаком с одним замечательным человеком. Он хорош собою, умен и считается высококвалифицированным специалистом

в своем деле. Он — профессиональный знаток трухлявых крестов (я забыл, как это называется по-латыни). Тебе следует знать, что нести такой крест — достаточно неприятное занятие. Поэтому многие обращались к нему за помощью. Он внимательно выслушивал, осматривал и обстукивал пациента, затем принимался за лечение. Опишу самый распространенный метод: доктор и клиент вместе аккуратно отдирают трухлявый крест от спины, распиливают его на кусочки и затем сжигают на медленном огне. Клиент платет, но испытывает облегчение. После этого необходимо еще несколько успокоительных сеансов, а также выбор добротного креста — из мореного дуба или, на худой конец, из смеси затвердевшей крови с желчью — даже такой крест лучше, чем трухлявый! В тяжелых случаях, когда клиент плотно срастался с крестом, приходилось прибегать к месмерову магнетизму... Так он лечил, и слава о нем прошла по всей земле! Наша фирма не могла нарадоваться — ибо любому чорту противна трухлявость! Но однажды свершилось ужасное! Наш герой...

В этот кульминационный момент рассказа мой сентиментальный собеседник залился слезами. Я протянул ему белый батистовый платочек.

— Спасибо... Так вот, однажды наш герой, отдыхая от трудов праведных, сам споткнулся о трухлявый крест и подобрал его! *Verdammt! Holen mich zehn Teufel! Geisteskrankes Siebenmonatskind! Nagt!* Как все-таки безумно устроен мир! И как глупы люди, его населяющие! Ювелир носит на пальце поддельное золото, коллекционер платит безумные деньги за бездарную копию, искусный кулинар питается протухшими устрицами, а красавец волочитса за последней уродиной! И так, мы долго наблюдали за специалистом по трухлявым крестам, влачащим свой трухлявый крест, и сердца наши исполнились жалостью. Наконец, меня, как наиболее опытного эксперта, направили к нему на помощь. Чего только я не предпринимал! Пользовал притчами и иносказаниями, бил по голове и вводил в глубокий транс... Все было бесполезно. Он оказался столь крепко привязанным к своему кресту, что держался за него даже в полном беспомощстве. И — уникальный случай! — крест пустил корни и обвил нашего героя. Отчаявшись, я оставил его и подал заявление о моей дисквалификации. Но начальство не приняло заявления...

— Конец у этой истории, конечно же, печальный? — спросил я.

— Конца у этой истории пока что нет. Он так и несет свой трухлявый крест, а я приежаю, провожу свои бесполезные сеансы и только расстраиваю его и себя... Впрочем, клиентов он продолжает лечить вполне успешно... Но мы замерзли, пора возвращаться в твою теплую комнату.

Чорт произвел едва уловимое движение рукой и мы вновь очутились за столом. В молчании выпили кофе с бисквитами. Молча закурили трубки.

— Когда будешь описывать эту историю, — попросил он меня, — не называй имен. Кроме Вагнера, пожалуй...

— Будет сделано, сударь!

Мой собеседник суетливо засобирався, все время отворачиваясь, чтобы скрыть глаза, полные слез. «Ничего бы не забыть... — грустно пробормотал он, пристегивая шпагу и накидывая плащ. — Ах да, мой крест!..» Он поднял лежащий на ковре крест из черного дерева и водрузил себе на спину.

— Wiedersehen!

— Auf Wiedersehen, mein Herr!

— Да, вот еще, — обернулся он:

— Glaub unsereinem, dieses Ganze

Ist nur für einen Gott gemacht!

Er findet sich in einem ew'gen Glanze,

Uns hat er in die Finsternis gebracht,

Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

— и быстро растаял в воздухе.

После его визита я еще долго собирав с ковра трухлявые щепки.

*Санкт-Петербург
13 марта 1998 года*

ИСТОРИЯ ОБ ИМПЕРАТОРЕ И О ПОКИНУВШЕЙ ЕГО МУЗЕ, РАССКАЗАННАЯ ЧОРТОМ В БАНЕ

Herrn Dr. S.V.Den-ko in Liebe und Andacht

— Menschen — Menschen! Falsche, heuchlerische Krokodilbrut! Я устал тебя искать! У нас происшествие! Император остался без Музы! И что из этого получилось! Какое коварство!!! — сначала я услышал эти восклицания, а затем передо мной возник чорт.

— Oh? — отвечал я по-английски. — Передайте ему мои соболезнования. Но я не намерен наносить визит ни генерал-адъютанту, ни генерал-губернатору, ни самому императору. Тем более, в таком виде.

И я развел руками. Моя речь звучала убедительно, поскольку я был в том самом виде, в котором меня родили, ибо наша внезапная встреча с чортом происходила в банях на улице Достоевского. «Поддайте-ка лучше пару, mein Herr, мне кажется, это вам сподручнее. При вашей-то специализации...» — «Дешевый юмор. Но здесь, действительно, прохладно. Так тому и быть! Du spottest meiner!» — буркнул он и поддал пару. Затем я с огромным удовольствием отхлестал моего знакомого березовым веником. А некоторое время спустя мы, благостные и раскрасневшиеся, устроились в курилке с пивом и трубками.

— Вы, mein Herr, всегда появляетесь так неожиданно. К тому же, выкладываете сплошь запредельщину, без всяких предисловий. После ваших визитов я долго не могу прийти в себя.

— После моих визитов некоторые совсем не приходят в себя. Радуйся, приятель! — осклабился он.

— Не могли бы вы, сударь, не прибегая к шиллеровским ругательствам, объяснить все обстоятельно и с самого начала?

— Пожалуй — да, — согласился чорт, отхлебнул пива и начал:

— Мой знаковый Император владеет крошечной империей — во всяком случае, так считает он. Его правление отличается жестоким деспотизмом абсолютной монархии: недовольных он наказывает самым страшным образом — он о них забывает, лишая тем самым возможности лицезреть свою особу и подчиняться.

На его страну иногда совершаются набеги, но ущерб, как правило, незначителен. Ибо кто может завоевать то, чего не знает?

Если хорошенько подумать: что отличает Императора от простых смертных? Ты думаешь, власть? А в чем природа этой власти? В том, что Император отталкивает землю ногами. И остается недвижим. Тогда как большинство лишь перемещается в пространстве! Вокруг него вращаются люди и планеты, ночь сменяет день, осень — лето; отцветают хризантемы и распускаются лилии; умирает любовь и возрождаются надежды; тускнеет жемчуг, рвутся шелка и ткуются холсты. Все это по его воле и помимо его воли. Он же остается недвижим в своем одиночестве.

У Императора была своя Муза. Она являлась ему то в виде смуглолицей девушки с рыжими косами, то в виде нежного юноши с бархатистой кожей. В виде утомленного боями воина и в виде мудрой матери семейства. В виде изысканно-нежной кошки, и в виде неслышно шуршащей змеи, а так же в виде эфемерного существа с вибрирующим голосом, китайского божка, одурманенного благовониями, etc... Если ты спросишь, зачем Императору Муза, то я отвечу: встречи с Музой даруют гармонию, мой друг! Гармонию в душе и гармонию в империи.

Император любил свою Музу и мог часами беседовать с ней на языке, понятном только им. В эти часы в его империи царила полная тишина — чтобы не шуметь, придворные переобувались в мягкие тапочки. Повар переставал греметь кастрюлями, придворная собака — выть на луну, поэт — скрипеть гусиным пером, а торговец веерами — расхваливать свой товар.

Муза присутствовала на всех церемониях и всегда располагалась по правую руку от Императора. Подданные льстили и заискивали перед ней, а чужеземцы дивились тому, что среди монархов есть Император, на службе у которого состоит Муза.

Но однажды она исчезла. Едва эта весть долетела до нас, я срочно отправился к Императору. Что я увидел! По всей империи был объявлен траур. Казни следовали одна за другой. Приближенные старались не попадаться тирану на глаза. А он проводил целые дни во дворце, задернув тяжелые шторы и затворив свое тело в черном шелковом халате, расшитом золотыми драконами — он страдал.

Да, конечно... поэты, художники, артисты!.. Но нет зрелища, более печального, чем Император, утративший свою Музу!

Тут чорт прервал свой рассказ:

— А не выпить ли нам еще по кружке пива?

— Я думаю, пора сходить в парилку, а потом — еще пива.

Так мы и поступили. В очередной раз поддав пару и окинув взглядом бичующиеся обнаженные тела, чорт философически изрек:

— Посмотри, как интересно. В бане не отличишь поэта от слесаря, художника от священника, альтиста от скрипача, артиста на характерных ролях от психиатра. А вот Императора узнаешь сразу. И ему не надо для этого рядиться в царские одежды...

— Every inch a king! — подтвердил я.

— Эй, мужик, поддай-ка еще парку, холодно что-то стало, — крикнули чорту раскрасневшиеся рожи. Он с готовностью исполнил их просьбу, и мы приступили к банной флагелляции. Когда же вновь устроились с пивом, чорт продолжил свой рассказ.

— Итак, когда я появился во дворце, Император, бледный и печальный, поднялся мне навстречу. «Рад тебя видеть, любезный друг... Ты уже знаешь, что случилось? Какое горе, какое несчастье! Жизнь моя омрачена этим ужасающим событием! Все полетело кувыркром! Я не могу заниматься делами империи и страдаю целыми днями! Это я-то, красивый и умный, тонкий и чуткий, нежный и порочный! Это я, тот, которому поэты посвящали изящные стихи, хирурги — свои виртуозные операции, шарлатаны — неизлечимых больных под гипнозом, а лучший в мире чистильщик обуви — сапоги, надраенные до такого зеркального блеска, что в них отражалась самая черная душа! Друг мой, что делать? Что делать?!». И Император, заламывая руки в каком-то иступлении, заметался по комнате. «Сир, — утешал его я, — вспомните, что сказал Огита Ансэй: если мы хотим продлить существование нашего брэнного тела, коему, однако, в конце концов, все равно суждено обратиться в дым, не следует впадать в отчаянье!» — «Это так, — отвечал он, — но назначение цитат состоит только в том, чтобы употреблять их к месту. Это тешит ум, но не облегчает страданья. Что я теперь без Музы? Кто поймет меня, когда мне грустно, развеселит, когда скучно, разъяснит, когда непонятно, пожалеет, когда трудно? Насколько мне известно, музы числятся по вашему ведомству, хотя и считаются послушными Божьему велению. Прошу тебя, любезный друг, окажи мне услугу — отыщи мою Музу! Я отблагодарю тебя чем только пожелаешь». — «Ну, благодарностей мы не принимаем, — сказал я, — хотя кое-что отдать взамен вам придется. Наши условия не меняются с веками. Только кровью сейчас уже не расписываются... Так, по рукам?» — «Что ж, по рукам!» — подумав немного, сказал он. Я попрощался и вышел из его апартаментов.

Когда я проходил по дворцу, меня окликнули. Я обернулся и увидел первого министра, выплывшего из-за старинной китайской ширмы. «Покорнейше прошу меня простить, сударь, но я считаю необходимым сообщить вам нечто. Я знаю, вам поручено отыскать покинувшую Императора Музу. Так вот, по моим сведениям, она исчезла не просто так... и не без участия Императо-

ра...» — «Да это — дворцовые интриги!» — возмутился я и выбежал из дворца.

Когда я проходил по рыночной площади, в толпе кто-то схватил меня за руку. Я обернулся и увидел молоденького пажа с живыми глазками. «Сударь, — прошептал он быстро, — я обязан сказать вам нечто. Совершенно секретное. Вся империя в курсе, но говорить об этом вслух запрещено. Император сам погубил свою Музу...» — «Да это — грязные сплетни!» — бросил я ему и зашагал дальше.

Когда я дошел до границы империи, я решил передохнуть в приграничном трактире. Хозяйка принесла мне сыра и вина и спросила, не хочу ли я усладить свой слух песнопениями слепого барда, забредшего сюда. «Почему бы и нет», — отвечал я. Грязный и оборванный старик расположился подле меня со своей цитрой и затянул слабым, надтреснутым голосом старинную балладу. Я рассеянно слушал, предаваясь размышлениям. В какой-то момент содержание баллады привлекло мое внимание. В ней рассказывалось о человеке, который не имел ничего, кроме одной прекрасной розы в запущенном саду. И вот однажды ночью он сам выкопал розовый куст, изрубил топором на мелкие кусочки и сжег в камине. А утром, посыпая голову пеплом той самой розы и стеная, он бродил по городу, жалуясь каждому встречному на то, что его лишили последней отрады и утешенья... Я дослушал балладу, ничего не сказал и покинул пределы империи.

Вернувшись к себе, я первым делом отправился в архивы нашей канцелярии. Не могу сказать, что дела там хранятся в полном порядке. Я провел семь дней и семь ночей, перерывая ворохи бумаг, переставляя тяжелые каталожные ящики и перекладывая запыленные архивные папки. В результате я нашел то, что искал. Во-первых, оказалось, что Император уже дважды закладывал нам свою душу. А во вторых, в реестре муз против имени императорской Музы рукою педантичного архивного канцеляриста свежими чернилами было означено: «выбыла из сонма муз вследствие уничтожения ее Императором собственноручно».

В ярости я явился к Императору. «Что будете пить, любезный друг, — веселое асти-спуманте иль папского замка вино?» — нимало не смутившись, приветствовал он меня¹. «Цианистый калий брудершафт. Kanaille! Schelm! Ангел с общипанными перьями тебе любезный друг, а чорт тебе не брат! Herzog der Beutelschneider! Gaunerkönig! Grossmogol aller Schelmen unter der Sonne!» — «Ну зачем же так горячиться, друг мой! Не лучше ли проводить вечность за приятной беседой и бутылкой хорошего вина? Мои действия никогда не выходили за пределы разумного... Садитесь удобнее, я вам все разъясню». — «Прежде всего, изволь отчитаться по договору, который ты имел наглость заклю-

¹ Dass ein Bösewicht noch so stolz sein kann!

чить в третий раз!» — «Ах, это... Я же знал, что Музу вам отыскать все равно не удастся, да к тому же все эти контракты, векселя и прочий бред — вовсе не являются обязательными для Императора. Я всегда делаю только то, что захочу. Что касается Музы... Так она мне просто надоела. Этот бесконечный занудный лепет, сопровождаемый пытливыми взорами и надутыми губками... Я хотел одиночества — а в этом нет состава преступления!» — «Но убийство! Что ты скажешь об убийстве?» — «А убийства не было. Ты знаешь, для того, чтобы кого-нибудь казнить, мне нужно о нем всего лишь забыть... Я забыл свою Музу — и она перестала существовать. Ты не представляешь, сколь сладостна жизнь без нее! Наконец-то я обрел гармонию! Но я связан церемониями и этикетом. Кроме того, даже Император нуждается в том, чтобы его жалели, так что сейчас мои подданные соорудили алтарь, и мы каждый день приносим на нем жертвоприношения — сжигаем лавровый венок... Но вы, любезный друг, как могли поверить всему этому вы! Кому, как не вам, знать, что меня невозможно покинуть! Только я, Император, могу бросить неугодного и надоевшего мне!»

И я согласился с Императором. Мало того, я принес ему извинения за свою горячность. Мы выпили с ним и асти-спуманте, и папского замка вино. Вот так, друг мой! — закончил чорт, отставляя пустую пивную кружку.

— Не очень-то приятный персонаж, этот ваш Император, — сказал я.

— Напротив, очень даже приятный. Поступай он иначе, он не был бы Императором. Пойдем последний раз в парилку, мне пора собираться — сегодня многое еще предстоит.

В третий раз мы пошли в парилку. Забрались на полки и долгое время предавались приятному ничегонеделанью.

— Кто бы пару поддал, жара не чувствуется, лежим как на северном полюсе... — лениво сказал лоснящийся толстый джентльмен с эвкалиптовым венником.

— Да уж, недурственно бы... — заметил мужик с бородой, похожий на священника.

— Лень спускаться, holen mich zehn Teufel! — изрек чорт. — Сейчас кто-нибудь войдет и поддаст...

И действительно, в этот момент дверь отворилась и в парилку вошел молодой мужчина.

—А... — начал было толстяк и запнулся. Воцарилось молчание.

В самом деле, было в вошедшем что-то такое, отчего никто не посмел ему крикнуть: «Эй, мужик, поддай-ка пару!». Мне почудился даже голос Музы еле слышный за его спиной...

*Санкт-Петербург
апрель 1998 года*

КРЭ.

УЖАСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ЧОРТОМ

«Если мужчина родился чересчур красивым, он преступник. Вот так, друг мой».

Саньютэй Энтё

— Как хорошо, что вы сегодня появились, mein Herr, — сказал я, отвешивая чорту поклон. — Знаете ли, мне последнее время как-то тоскливо и тревожно. А ваши занимательные истории так просветляют душу!

— Для того они и предназначены. Я хочу рассказать тебе о фейерверкере. Да, о фейерверкере! Но прежде необходимо объяснить, что такое Крэ.

Крэ невозможно описать — оно ниоткуда не возникло, и оно никогда не закончится. Оно везде — и оно нигде. Оно является, но его никто не видит. Оно даже над нами имеет власть. (Впрочем, Крэ — не Дао, не любовь и не смерть!) Когда приближается Крэ, животный страх наполняет твоё сердце, дикая тоска разрывает твои внутренности и волосы делаются седыми в одно мгновение. Да, Крэ невозможно описать... Но невозможно описать и то состояние, которое испытывает всякое живое существо при приближении Крэ! Одно из воплощений ужаса — вот что такое Крэ.

Ты знаешь, что любая разновидность ужаса персонифицируется в человеческом мышлении. Химеры, гарпии, сфинксы и сирены — все это тебе хорошо известно, а кое-что и знакомо. Крэ не имеет персонификации — поэтому и не закреплено ни в одном из мировых мифов. Но Крэ имеет служителя. И он — не чудовище. О, напротив, он красив настолько, насколько может быть красиво существо в человеческом обличье! У него нет имени — вернее, у него много имен, которые он меняет и под которыми его знают. Но специальность его всегда остается неизменной — он фейерверкер (Feuerwerker). Он изобретает и демонстрирует потешные огни.

Кстати, тебе известно, как приготовить самый элементарный потешный огонь?

— Нет... — развел я руками.

— Все очень просто. Заблуждается тот, кто думает, что главное здесь — порох, подмоченный слезами невинного младенца! Порох можно не добавлять совсем.

И чорт в самых искусных выражениях изложил суть вопроса (см. книгу рецептов).

— Но вернемся к фейерверкеру. До чего же он красив! Если ты возьмешь все описания красавцев, героев-любовников и положительных героев, когда-либо созданных романистами, да добавишь еще ямочку на подбородке и родинку на левой щеке, — тогда ты сможешь представить, как выглядит фейерверкер!

Всех, кому он встречается на пути, охватывает единственное желание — забыться, бросить все и идти за ним... Но повстре-

чать его — не так уж и опасно. А вот когда фейерверкер зажигает перед своей жертвой хотя бы один — пусть маленький — бенгальский огонек... Считай, что этот человек, зверь, дух или призрак пропал! Что же говорить о том, когда этот торментарий (Tormentarius) взрывает ночную темноту разноцветными петардами, переливающимися сказочными птицами и извивающимися драконами! В таком случае лучше поменяться местами с самым гнусным преступником, осужденным на самые страшные пытки! Ибо что есть страдания физические по сравнению с терзаниями души, рассыпающейся на мелкие мозаичные фрагменты?

Фейерверкер не сразу приближается к своей жертве. Сначала выслеживает и обхаживает ее. Жертва начинает чувствовать щемящую тоску и метаться. А потом... Потом он начинает демонстрировать свои потешные огни. Но жертва — жертва их не замечает! Она прикована взором к глазам, сверкающим ярче потешных огней. Фейерверкер подходит все ближе и ближе, и вот когда он уже почти касается жертвы... Тут-то Крэ и переходит в обреченного и заполняет его душу до краев! Под треск и тление петард, под свист и хлопанье разноцветных огоньков, под всполохи переливающегося мерцанья! И все это — треск и тление, свист и хлопанье, всполохи и мерцанье — все это навеки сопровождается жертву. А фейерверкер исчезает. Исчезает, забрав с собой взгляд несчастного, его покой и гармонию. Что по сравнению с этим наш адский огонь! Наши рефлекторы, включенные на малую мощность; наши заурядные пытки! Ужасающее Крэ карает не грешников, а избранных им. И никакого закона о справедливости оно не признает!... Фейерверкер заглядывал в вечные глаза медлительных сфинксов; мерзкая Горгона униженно опускала перед ним свои тяжелые веки; а одна женщина так навсегда и осталась, окаменев, глядеть на страшные вспышки потешных огней родного города... Да, Крэ — стихия, порождающая стихию, питающая стихию и проникающая в стихию. Исходя из этого, было понятно, что служитель Крэ сам когда-нибудь будет вовлечен в пучину. Так оно и случилось много лет тому назад. Однажды, когда его глаза были уже прикованы к глазам жертвы, когда все небо вокруг разрывалось всполохами потешных огней, и Крэ уже должно было перейти — фейерверкер отвел взгляд! Он не мог не отвести взгляда! Это было выше его сил! Страсть поразила его и вошла в его душу. И вместо жертвы, его душа исполнилась Крэ! С тех пор он мечется, несчастный, сея вокруг себя разрушительный огонь. И неся этот огонь уже в своей душе... Он страшен, как страшно Крэ...

По роду своих занятий я знаком со многими представителями сил зла. Одни состоят у нас на службе по совместительству, деятельность других мы курируем, с третьими просто дружим... Но никогда, никогда я не подойду — а, тем более, не стану говорить с фейерверкером! Огромное отвращение испытываю я к этому исчадию ада!

Я поведал это тебе потому, что недавно вновь повстречал его... Уже который день фейерверкер кружит вокруг твоего до-

ма. В руке у него большой саквояж с потешными огнями... Тебе следует быть очень осторожным. Видимо, встречи с ним уже не избежать, но мы попытаемся обмануть его. Когда будешь выходить из дома, надевай вот эти темные очки. В них тебе не страшна магия потешных огней! — И чорт передал мне изящные очки темного венецианского стекла в черепаховой оправе.

В дверь постучали. Я поднялся.

— Не открывай, это он! — в ужасе закричал чорт и повис у меня на рукаве..

Я вежливо освободился от удерживающего меня чорта, улыбнулся, бросил очки на стол и направился к двери.

*Санкт-Петербург
апрель 1998*

БЕССОННИЦА.

ИСТОРИЯ О СНАХ,

РАССКАЗАННАЯ ЧОРТОМ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Бессонница. Бессонница, преследующая меня вот уже около месяца, измотала вконец мои нервы... Чего только я не предпринимал! Валерьянка, травяной чай, аутотренинг, чтение скучных книг и их написание — все поколениями проверенные средства оказывались бессмысленными! Чорт, как назло, в это время не появлялся — он никогда не появляется в тяжелые моменты моей жизни. Ему бы только пиво попить да потрепаться на отвлеченные темы!

— Ну что? — с радостью услышал я родной голос. — Бессонница, мой друг?

— Бессонница! Бессонница!! Бессонница!!! Наконец-то вы снова со мной!

Всей своей мимикой чорт выразил явное удовлетворение. Всякому приятно осознавать, что он нужен.

— Ну, самое простое средство от бессонницы — душевный покой. Пока его не обретишь, не помогут ни высушенный под андалузским солнцем навоз, ни сожженные волосы молодящейся ведьмы, ни настойка жень-шеня на козлиной моче... Кстати, всё ли из перечисленного ты перепробовал?

— В какой-то мере — да, — отвечал я неопределенно.

— Тогда придется восстановить твой душевный покой. Этим мы сейчас и займемся, мой друг! Но в начале я хочу рассказать тебе, как сам излечился от проклятой... Это было давно... Послушай же...

Итак, однажды, терзаемый тем недугом, что хорошо тебе известно, я решил понаблюдать за ночным миром людей. Как он однообразен! В домах с потушенным светом мяукала кошка, либо плакал во сне ребенок, либо двое занимались любовью — если только можно назвать любовью ритмичные движения двух тел на простыне при свете ночника... Там, где жгли свет, было

еще скучнее — мяукала кошка, либо плакал во сне ребенок, либо двое занимались любовью — если только можно назвать любовью ритмичные движения двух тел на простыне в крошечной темноте! Так я рассматривал дом за домом, пока, наконец, не наткнулся на кое-что действительно любопытное. Это было жилище великого писателя. В одной комнате находились трое: великий писатель, великий художник, задержавшийся в гостях у писателя, и еще один человек — непонятно кто. Они спали. И не они были мне интересны, а их сны...

Но в этом месте я сладко заснул, и не смогу продолжить эту историю, так как сочинять за своего чорта не вижу смысла. Покорнейше прошу простить.

Без гаты

ИЗ КНИГИ РЕЦЕПТОВ ЧОРТА

I. РЕЦЕПТ ВЫЗОВА СВОЕГО ЧОРТА

Вызов своего чорта произносится исключительно по-немецки. Лучше всего использовать берлинский диалект:

Verdammt! Holen mich zehn Teuffel! Geisteskrankes Siebenmonatskind! Narr! Menschen—Menschen! Falsche, heuchlerische Krokodilbrut! Herzog der Beutelschneider! Holen mich zehn Teuffel!

II. РЕЦЕПТ ФЕЙЕРВЕРКА (ЭЛЕМЕНТАРНОГО)

Следует взять 3 унции жабьей желчи и развести ее до консистенции густой сметаны искрометным смехом молоденькой девушки, ни разу не бывшей с мужчиной. Поставить на огонь. Варить, помешивая, на медленном огне. Добавлять по капле (очень аккуратно) подавленную гордость. Затем залить все это 5 унциями рассола трагического пафоса с неудовлетворенными амбициями и поставить охлаждаться. В час по чайной ложке добавлять 10 унций коровьего дерьма (navoz), затем все тщательно перемешать и выложить тонким слоем на инкрустированный противень. Сушить на солнце, отгоняя мух японским веером, изготовленным в тринадцатом веке. Готовый продукт порезать на мелкие кусочки, предварительно побрызгав розовой водой. Вот и все!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В воздухе запахло серой. «Странно, — подумал я, — неужели моего чорта понизили в должности, и он теперь выполняет грязную работу: драит котлы и выносит золу?» Я ошибся. Чортом в моей комнате и не пахло... Это прилетел ангел. В изумлении я уставился на него (нет, скорее: вытаращил глаза). Он повернулся

направо, затем налево, прокрутился несколько раз вокруг своей оси, чтобы продемонстрировать свои великолепные белые крылья («перышки», как он впоследствии выразился), и ввел меня в некоторый столбняк, так все это напоминало прихваты опытных манекенщиц.

— Я — твой ангел! — жеманно прошелестел он.

— Да? Ах да... простите... Я до сих пор как-то не задумывался о вашем существовании, все как-то приходилось общаться с чортом. Очень приятно. Прошу вас, присаживайтесь.

— Спасибо. — Ангел повел мохнатым крылом и томно опустил ресницы. Прошел мимо меня, обдав ужасающим запахом серы, и расположился все в тех же вольтеровых креслах, красиво задрапировавшись в свои перья.

— А как же чорт? Что же, его больше не будет?

— Будет, не будет — какая мне разница! Он существует вне моего сознания. К тому же твой чорт — грубый мужлан, — ангел фыркнул. — До сих пор здесь стоит дешевый запах табака и пива!

— Бога ради, простите... Но мне показалось, что с вашим появлением здесь стал ощущаться другой запах... э, простите... серы... Могу я задать вам один вопрос...

— Да, — ангел милостиво кивнул. — Ты внимателен. Это приятно. Я знал, что тебе понравится! Сейчас у нас это самый модный парфюм. Достать совершенно невозможно. Мне, однако, посчастливилось приобрести упаковочку... Но я здесь не затем, чтобы болтать о пустяках. Я обязан позаботиться о твоей душе! Самая первая история, которую я намерен тебе рассказать, называется... «История о трухлявом кресте»!

*Санкт-Петербург
1999*

Алексей Кирдянов

ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕННОЙ СТИЛЬ»

* * *

Ну вот, еще бездарный вечерок
Провел в кругу подвыпивших поэтов:
Любой из них был, кажется, игрок —
И намекал мне: вечер фиолетов!

Шел разговор (чадил, как уголек!),
Плохих стихов был видимый излишек...
Не то чтоб я был от стихов далек —
Я не любил стареющих мальчишек.

...Ругался я, И, сидя у стола,
Вдыхал струи табачного эфира.
Был счастлив тем, что в снах моих была —
Хотя бы в снах! в ночь канувшую — Кира...

6 июня 1996
Санкт-Петербург

ДУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Вновь вернувшись с вечеринки, я нахмуриваю бровь:
Ничего-то не осталось — только страхи да любовь,
Да снотворная таблетка, кипяченая вода...
Вот и Светка, как и раньше, вспоминается — «звезда»!

И поэзию, как прозу, задвигая на потом,
Я январское мурыжу время в воздухе простом.
И, к разгадке жизни близок, словно Лужин — к выражу,
— Как себя я ненавижу! — отражению скажу.

12—18 января 1997
Санкт-Петербург

ПАРИ

Памяти Розы Гульяевой
1997

На автобусной остановке,
Там, где желтые фонари,
Обносившийся и неловкий,
Я с Фортуной держал пари:

Если выкурю сигарету,
И за время, пока курю,
Нищей женщине хоть монету
Я на хлебушек подарю, —

Значит, будущее не страшно —
И еду обрету, и кров;
Значит, вышептан мной не зряшный
Рой срывающихся стихов;

Значит, нынче над грязью снега
Расплывается грусть не зря —
В плаче пьяного человека,
В скрипе желтого фонаря...

Закурил. И стою. И вскоре,
Неожиданно, со стены —
Да, старушка. Нища. Во взоре —
Сумасшедшие точки-сны.

Подпоясана чем-то грубо —
В поистершемся зипуне,
В рваной шали. И вот беззубо
Улыбнулась... И точно — мне.

И, былую храня осанку,
Прошептала вдруг: «Я — судьба!» —
Мою душу как наизнанку...
Наваждение! Ворожба!..

Засмеялась потом надсадно,
Искривляя в безумье рот.
И у первой исчезла парадной,
Провалилась в глухой поворот.

Начинался уж ветер вьюжный...
Там, где желтые фонари,
Я стоял еще долго — ненужный,
Эфемерный, как то пари.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Вспоминаю про твое плечо —
Словно бы его касаюсь ртом...
Я на кухне. Я варю харчо,
Я сосиски режу. А потом

Напеваю песенку-куплет —
Напеваю о тебе, о нас...
Ах, еще я съел бы и омлет
И запил бы соком — вот сейчас!

Вспоминаю я глаза твои —
Милые, туманные глаза...
Погонять бы, погонять чай
Сразу, как стемнеют небеса.

Я звоню тебе: «Я так устал!»
Говорю: «Мне плохо без тебя!..»
«Я в тоску, в тоску себя вогнал», —
Думаю, морковкою хрустя.

2

Я звоню тебе, я так устал,
Говорю: «Мне плохо без тебя!..»
«Я в тоску, в тоску себя вогнал», —
Думаю, морковкою хрустя...

Вспоминаю про твое плечо —
Словно б до него касаюсь ртом...
Я на кухне. Я варю харчо,
Я сосиски режу. А потом

Я стишок слагаю, нет — куплет:
Напеваю о тебе, о нас...
Ах, еще я съел бы и омлет
И запил бы соком — вот сейчас!

Вспоминаю я глаза твои —
Милые, туманные глаза...
Вот бы вместе погонять чай
Сразу, как стемнеют небеса!

16, 18-19 февраля 1997
Санкт-Петербург

НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ну вот и дождался: весна. Погляди —
Захлюпали лужи. Ботинки
Пора заменить на другие. Иди
Домой. Остриякам и блондинке
Звони, пригласи их на завтрашний столъ
Ненужный, но все-таки праздник...
Подумай: чего еще нужно на стол —
Картофеля, мяса... И разных
Салатов... Напитков хватило б спиртных —
Вино, белорусская водка...
Мне «тридцать» — для ближних. Для всех остальных —
«Весна»!.. И плыву, словно лодка.

11 марта 1997
Санкт-Петербург

ЗАГАДКА

Твой подарок мне приятен,
Потому что веселит
Желтенький, но в сетке пятен
Чуть коричневых... Пиит

Я, конечно же. И значит,
Мне он нужен. Но зачем? —
Если он немой — не плачет
И не хочет есть совсем?

21 марта 1997
Санкт-Петербург

О ПОЭЗИИ

Глупо, глупо вести разговоры
За обеденным круглым столом.
Ни к чему, извините, мне споры:
«Что же дальше случится, потом...» —

Если стынет картофель на блюде,
На тарелке сжигается студень,
И в стакане теплеет боржом... —

«...Если умер N. N. И в былом...»

Я люблю, когда в доме есть люди,
Что умеют молчать за столом!

21 марта 1997
Санкт-Петербург

НОЧНОЙ БРЕД

Когда фиолетовый говор замолкнет,
Ночь станет грустней... Одному
Мне страшно — вот, кажется, охнет
Темень. Взгляда не подниму.

«Пусть кто-нибудь будет таким же хорошим,
Таким же тревожным и грустным.
Приснится и мне, и Алешам:
Нашим пусть будет он другом, и устным

Пусть развлекает рассказом пред ночью...
Пусть развлекает...»
Заговариваю: «Заговаривай темноту эту волчью...
Мне страшно, мне страшно — мой говор смолкает...»

21 марта 1997
Санкт-Петербург

ПАМЯТИ Б. ОКУДЖАВЫ

Я в последний, случайный троллейбус вскочить не успею,
Я уже не успел, извини — оказался, как видишь, в другом...
И вот я замолчал, я молчу, подпевать я теперь не умею
Твоему голоску, что першит граммофонным песком.

Те же ль тихие струны шуршали на лире Орфея,
Окликакая, скликакая встревоженных траурниц — тружениц-птиц?
Как узнать?.. Не узнаю теперь я, зачем сердца оторопь, зрея,
Добегают, колючая, влажная, до основанья ресниц.

Неужели опять это я на призыв оглянулся, в движение запнулся,
Глянул в те же глаза; и ноздрями вдохнул снова кипрскую
Лишь крыло белой птицы мелькнуло, — твой голос поднялся,
И, прощаясь, простясь, шевельнула хвостом золотая форель.

18 июня 1997
Санкт-Петербург

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ

Я ненавижу секс
Литературных звезд —
Он оставляет текст,
Что тянется, как хвост

Ослиный, а не шлейф,
Как думают писцы,
Что грезят так: «Не дрейфь! —
Потрогай за сосцы!..»

Я не люблю дрова
Все эти: «кончил», «дал»
«Перевернись», «дня два
Ее он колыхал»...
Заткнитесь!.. Взгляд другой
Мне ближе: «лопухи»!
А вовсе не с ногой
Тяжелые стихи.

Цено я, но иной
В стихах — весенний мир,
Когда следит за мной
С колчаном конвоир;
Другие ближе мне
В любви моей права:
Шептать наедине, —
«Люблю тебя», — слова.

*7 августа 1997
Санкт-Петербург*

* * *

Посидим, покурим, выпьем
Чаю несколько глотков...
Из подборки «звездной» вынем
Тройку миленьких стишков.

Посидим еще, поспорим
Неприменно о других —
Не разлиться нежным морем
Им в журналах дорогих!

*9 августа 1997
Санкт-Петербург*

ПИСЬМО

Каждый раз, когда я получаю
От тебя, друг мой, Боря, письмо —
Я настойчиво, друг, изучаю
На конверте печатку-клеймо.

Ну, конечно же: мне интересно,
Сколько суток летело оно —
Знать, как долго летело, прелестно,
Меж собратьями заключено?

Так вот — в узком конвертике белом,
Или в белом с каймой голубой,
Знаю, дружеский лепет — в умелом
Оперении рифмы сквозной.

И тебя, мой Борис, вспоминаю:
Взор твой, шрам дорогой на щеке:
Вспоминаю тебя — охраняю! —
И в счастливые дни, и в тоске.

*Сентябрь — октябрь 1997
Санкт-Петербург*

* * *

Б. Рыжему

Теперь, в коммунальной квартире,
Общением не обделен.
Меж стенами (коих четыре)
Как ты я живу и как он!

И, кажется, благословенны —
Домина с колодцем-двором,
И эти вот сильные стены,
И дверь с серебристым замком.

С общением — Бог с ним. Спасают
Прогулки вдоль Мойки, вдоль рек...
Да и небеса — нависают
Трагически-пасмурно. Снег...

*Ноябрь 1997
Санкт-Петербург*

НЕБРЕЖНЫЕ СТИХИ

Театральные программки, с фотографией газеты,
На которой обнаженный романтический герой,
Все заброшено, забыто, и, как водится, раздеты,
Мы проводим на постели, в томной неге выходной.

Отчего такие руки и зачем такие ноги,
Для кого такие губы Бог однажды совершил?

Ах, лукавая улыбка! — «Ты уже зачислен в боги?»
Да, конечно же, зачислен — если я с тобою жил!

Апельсины и бананы в этот день мы ели, что же
Нам еще осталось делать, если я уже любил?..
А рассказывать, как будем очень скоро жить дороже,
И надежней на планете; и любить по мере сил!

*Ноябрь 1997
Санкт-Петербург*

Инна Лесовая

МЕСТО НА ФОТОГРАФИИ

Где оно теперь, коричневое папино пальто? Истлевает, сливаясь постепенно с землей, как незарытое животное? То самое пальто, которое сотворилось так торжественно и постепенно на протяжении многих лет — детских, тянущихся невыносимо медленно от елки до елки, от парада до парада, с редкими вкраплениями именин, поездок на пляж и эпохальных покупок.

Бедные пятидесятые! Старенькая фанерная мебель в волдырях и трещинах, прикрытых ажурными крахмальными салфетками. Разложенные, развешенные симметрично и ярсами по всему дому, они парили, как райские облака, и на них восседали небожители — фарфоровые, стеклянные, целлулоидные, обязательные для каждого жилища: девочка с голубем, танцующая узбечка, пионер с книгой... Эти безделки отличались друг от друга лишь оттенками красок и выражением лиц. Следствие небрежности кисти... У всех моих подруг, например, были небольшие целлулоидные пупсы с челочкой, и почему-то даже звали их одинаково — Катя. Но моя Катя была покрепче других, посмуглее и смотрела радостно-туповато, Лоркина Катя была хрупкая и злая, а Леночкина — косая и вовсе без выражения лица.

Но при чем тут куклы... Впрочем — тоже судьба: все они кончили на мусорнике, предварительно полежав — в тщетном ожидании починки — на дне чемодана, заменявшего в те годы чулан и чердак. У одной отвалилась голова, у другой — ноги... И у всех вдавились носы... Их ручки с рассудительно вытянутым пальчиком грозили из мусорных куч: «Memento mori! Не спускайся с заоблачной полки, не становись будничной тарелкой, затрапезным платьем, одежкой на каждый день!»

А оно и не становилось, папино пальто. Отчасти по причине своей тяжести.

Помню, как внесли прямо из ночи свернутый бревном отрез коричневого сукна. Дернули шпагат, зашелестели бумагой и раскатали по дивану тяжелую и мягкую на ощупь ткань, будто осеннюю землю под низким оранжевым солнцем абажура.

Я была еще так мала, что абажур казался мне больше солнца. Во всяком случае, важнее. А мамыны цветастые платья, подцепленные проволочными вопросиками вешалок к распахнутой оконной раме, заставляли дурацкое сердечко захлебываться и обмирать, как при виде водопада. Лицо морщилось от брызг и грохота...

Два раза в году потертый бегемот, шелкнув никелированными замками, раззевал отклеенную газетой пасть, и оттуда извлекали седую чернобурку, шубу, осыпанную снегами нафталина, два отреза маркизета, легких, цветастых — и этот, неподъемный, коричневый. Озабоченно шарили руками по его холмам и равнинам, испуганно катали между пальцами белую пушинку... Он не оправдывал моих надежд. Чего я ждала? Что сквозь него пробьются травинки? прорастут ландыши?

Так вот, может, уже и проросли... В какой-нибудь привокзальной рощице, где его бросил несчастный беспечный Ленечка, мой двоюродный брат, собиравший деньги на золотой перстень... Какая судьба! У вещей, как и у людей — такие бывают судьбы, что впору романы писать. Игриво развевающийся шарфик великой балерины... Или никому неизвестное ситцевое платье; ему бы послужить два сезона — и в тряпки, а оно оказывается причиной гибели славного беспородного щенка, а в конечном счете и его совсем юной хозяйки...

Вот и папино пальто — не оно ли ускорило печальный конец моего бедного брата? Не оно ли соблзонило какого-нибудь бестолкового бомжа приманить это седеющее дитя и потащить куда-то за собой? Но почему он просто не раздел его и не удрал? Вряд ли брат бросился бы за ним вдогонку; недолюбливал он это пальто из-за его непомерного, социалистически-бойрского веса. Поэтому оно и не залоснилось, не затрепалось, как любая вещь, которой мой брат пользовался больше трех раз подряд.

Он надел пальто по случаю особо сильного мороза, отправляясь на базар сопровождать Фриду Аркадьевну, которая все и всегда делала не ко времени. Базар был плохой. Они ходили вдоль пустых оледенелых прилавков, выглядывая издали черные фигурки бесчувственных от мороза крестьян, не оживавших и при виде допотопной Фридиной шляпки со вздорным фетровым бантом, будто выпихнутым на авансцену из-под пухового платка. И даже кое-как размазанный румянец, даже криво намалеванные на лысых морщинистых буграх полоски Фридиных бровей не выводили их из негомого бдения над ведром замерзшей капусты или горкой семечек в спущенном мешке. Где уж там было им заметить какого-то вихлявого бомжа, делающего знаки видному мужчине в директорском пальто! Ну, повернулся. Ну, отошли за рундук. Фрида же хватилась лишь тогда, когда выторговала невесть для чего здоровенный корень хрена и потянулась сунуть его в кошелку. Но кошелки уже не было. Не было и буханки серого хлеба, купленного по дороге, не было и коричневого пальто, и бедного моего брата.

Фрида не испугалась. Окинула слезящимся взглядом площадь, витрины, подождала у входа в мужской туалет, а в конце концов даже заглянула туда. И наконец побрела домой, качаясь от налетающей толчками метели, с хреном наперевес... Она предполагала, что Ленечка уже дома, и радовалась за него, и гордилась привычно его недооцененной сообразительностью.

Этот город, этот город... Неотличимый от сотен других городов, он так часто снился мне, что утратил свои реальные черты большой деревни с двухэтажной, правда, площадью и колоннадой Дома офицеров — храмом и святыней моего брата... Снятся все какие-то пассажи, улицы с застекленным небом, элегантные трамваи, огромные часы над железнодорожными кассами, где продаются билеты прочь... а дом моей тетки, наоборот, оказывается почему-то похожим на хижину, затерянную в одичавшей зелени. Пустой, пыльный, со сползшими на пол картинами... дом умерших хозяев.

Впрочем, почти таким он был и в реальности. Сразу чувствовалось, что хозяев нет в живых. И Ленечка, гордо считавший себя хозяином дома, все же предпочитал жить в вонючем, заваленном кучами грязного белья логове Фриды Аркадьевны — даже тогда, когда Катя, его старшая сестра, приезжала в Славуту на две недели, чтобы не дать дому рухнуть, а Фридиному грязному белью не дать пойти по второму кругу... Он заходил в свой дом только днем; строго следил за тем, чтобы сестра не взяла себе на память какую-нибудь мелочь из рассыпающегося родительского гнезда, где ей было так страшно ночевать одной, где не стали селиться даже мыши.

Зато какое раздолье мышам было в хибарке Фриды! Там было тепло и сытно, там вечно пахло кипящим на огне жарким, свежим борщом, скисшим борщом, замшелой гречневой кашей, одеколоном, пудрой, трехмесячным потом постели, жареной картошкой, скисшей жареной картошкой, гниющей в помоях жареной картошкой...

Фрида целыми днями готовила: все боялась, что придут гости и застанут ее врасплох. Поэтому, возвращаясь домой, она спешила поставить на огонь кастрюлю с водой, а потом уже снимала пальто. Вчерашнюю еду она никогда не употребляла, а сваренное утром иногда принимала за вчерашнее. Правда, утреннее часто стгорало, ибо, высыпав пакет крупы в кипяток, Фрида могла отправиться в уборную, затем, естественно, шла мыть руки и лицо, что влекло за собой немедленное наведение красоты.

Судя по фотографиям, Фрида была в молодости прехорошенькой. Живых свидетелей тому не имелось, но это было как бы городское предание. Ее вообще по-своему ценили: улицами, домами, своим укладом город был похож на любое большое село, и лишь Фрида с ее шляпами кружевными и шляпками фетровыми, с произвольно проложенными черными полосками бровей была явлением исключительно городским и свидетельствовала о давних городских традициях. А так — все было село да и село: пуховые сугробы, приваленные к заборам, и подушки, подушки снега на крышах, кружева садов в ночном инее...

Было еще утро, когда Фрида ковьяляла по выбитой среди улицы снежной траншее, с бледным хреном в озябшей руке, с остатками малиновой помады на задернутых в плотную оборочку губах. Раскачивалась от стенки к стенке и радовалась, что брат мой уже дома, в тепле, и все восхищалась неожиданной правиль-

ностью его решения: взял да и ушел домой. И уверенность ее была так сильна, что, только поставив на огонь кастрюлю, она обнаружила, что нет его дома, моего брата, а папино пальто не висит на своем гвозде.

Испугалась она только к вечеру. В милицию же обратилась и вовсе на другой день. Тогда же позвонила в Москву Кате, а затем и нам, в Киев.

Она плакала, говорила, что боится спать одна, что ее деревенские приятели из-за сильных морозов не ездят на базар, что с продуктами совсем плохо, что хлеб опять подорожал, и та буханка, которую унес с собой бедный мальчик, стоила пятьсот купонов, а сегодня она взяла такую же за восемьсот, что соседи говорят, будто появились банды, которые заманивают людей, убивают их, а трупы разделяют и продают как свинину...

Все это ни нам, ни Кате не показалось смешным. У Фриды и ее покойного мужа — Мирон Сергеича — была собственная теория относительно здоровья моего бедного брата. Эта теория прямо противоречила предписаниям врачей: ограничивать больного в пище.

Бедные мои дядя и тетя! Каких трудов им это стоило! Ограничивать Ленечку... И когда! Когда после стольких лет безденежья они внезапно разбогатели: к двум учительским зарплатам прибавились две пенсии, плюс неожиданное наследство, плюс нерегулярная помощь крепко ставших на ноги старших детей — Кати и Яши. Помощь ненужная, но приятная и возмещаемая регулярными посылками, провинциально-продуктовыми. На старости моя тетя научилась печь, варить варенье и консервировать плоды собственного сада и огорода. Для Кати, супруги молодого профессора и лауреата различных премий, для Яши, женатого на дочери крупного подпольщика-коммерсанта, посылки из дому имели значение чисто ритуальное. Да и вообще в отношениях между родителями и старшими детьми, неосознанное, преобладало ритуальное начало. Не то что с несчастным братом моим, с Ленечкой, надрывно любимым крестом и позором всей семьи.

И его-то, вечно озабоченного запахами кухни, способного легко уместить во рту целый ломоть хлеба, одним разом вытянуть банку компота, приходилось ловить, ругать, запирать от него кладовки и буфет — и с болью наблюдать, как он снует, воровато и непристойно глотая, посмеиваясь, выжидая. Чуть зазеваешься — и он уже давится непрожеванным коржилом, а другой хрустит в кулаке... И так противно, так больно... Смотреть на это, стоять навтыяжку перед врачами, слушать их безжалостные упреки... «Что же вы делаете! Он же у вас стал похож на кабана! На нем же сала килограммов сорок!»

Тетя обижалась. Ничего такого она не видела. Она привыкла к тому, что мальчик у нее красивый. Была она слабохарактерна и после смерти дяди не так тщательно следила за дверцами буфета и кладовки. А иногда просто доставляла себе удовольствие, слушая упорный хруст песочного печенья, глядя, как пирожок со сливовым повидлом чувственно внедряется в малиновый джем и

нахально возвращается, густо закапывая клеенку. Тетя выяснила опытным путем, что возможности моего бедного брата не безграничны, что в конце концов он откинется, отдуваясь, на стуле и с добродушным отвращением будет разглядывать смятый бисквит... поредевшие абрикосы в банке. Подолгу... Будто это аквариум с рыбками. Между делом он прислушивался к своему организму в ожидании нового прилива готовности.

Тетя говорила себе, что дни ее сочтены, несмотря на присылаемый из Москвы адельфан, гимнастику, бессолевую диету и помогающие от всех болезней апельсины; что Ленечку несомненно ожидает полуголодное существование в интернате для душевнобольных. Она больше не пыталась найти ему какую-нибудь сильную работу и перестала поручать даже то небольшое, что он раньше делал по хозяйству. Разве что иногда брала Ленечку с собой на кладбище, где он приносил ей от колонки воду. Стоял, переминаясь... Смотрел, как тетя, тяжело сопя, выпальывает в оградке сорную траву, вздыхал и повторял: «Как мне жалко, папа, что тебя больше нет!»

Тетя не угадала. После ее смерти Ленечку в больницу не отвезли.

Несколько месяцев он прожил с квартирантами, которых нашла Катя, а когда квартирантов выгнали, Мирон Сергеич, бывший завхоз школы, где дядя мой был директором, тетя — завучем, Катя — главной отличницей, Яша — главным артистом и спортсменом, а Ленечка — главным... забрал его к себе. В свой домик, невероятно захламленный и запущенный за те два года, которые Мирон Сергеич прожил со своей «молодой женой».

Фрида Аркадьевна красилась в черный цвет, неумеренно пользовалась помадой и особенно румянами, носила кружевные шляпки и блузки с глубоким декольте. Пожилые ее дети стыдились матери, и она искренне привязалась к Ленечке, ценившему Фридину парфюмерную красоту. Мирон Сергеич и Фрида Аркадьевна о больнице и слышать не хотели — особенно после того, как однажды поддались на увещевания участкового психиатра и отвезли Ленечку в Тополевку. В первое же воскресенье они явились туда с передачей, и когда мой бедный брат, жалкий и осунувшийся, вышел к ним в линялых лохмотьях и стал проситься домой и обещать, что будет хорошо себя вести, старики расплакались, и уже в понедельник он был дома.

Участковая медсестра приходила делать ему уколы, Мирон Сергеич давал по часам таблетки. Но в медицине старики не верили. Фрида Аркадьевна лечила Ленечку едой. Она пошла много дальше моей тети. Та слабовольно позволяла ему есть, сколько захочет, а Фрида Аркадьевна заставляла, караулила тот момент, когда он откинется от стола и с сожалением, с икотой уставится на остатки еды, как живописец на надоевший пейзаж. Тут она и начинала подкладывать ему добавку.

Бедный мой брат сопротивлялся. Унылые супы Фриды Аркадьевны с разваренными кусками мяса, обгаженными капустой

и крупой, ее сухие каши с тем же мясом не возбуждали нового желания. Но Мирон Сергеич мягко и строго настаивал, а Фрида Аркадьевна делала вид, что плачет. «Не плачь! Не плачь, Фрида! — испуганно приказывал Ленечка. — Я буду, буду кушать!» — и с бесчувственным усилием перемалывал следующую порцию, после чего, всегда неожиданная для бедного моего брата, появлялась коварная «закуска» — миска творога, посыпанного сахаром, как ночным снегом, пачка дешевых вафель. Похрустев всем этим, брат терял всякое выражение лица и неподвижно сидел часами. Ничего уже ему не хотелось — ни гулять, ни кататься на автобусе, ни даже пить. Говорливая Фрида, задавая ему вопросы, сама же на них и отвечала. А Мирон Сергеич хвастал в письмах к Кате, что уже пять, семь, девять лет им удается избежать обострений. Периодически просил высылать чуть больше денег в связи с возмутительным ростом цен. Фрида Аркадьевна приписывала несколько слов о том, что Ленечка прекрасно выглядит, что он красавец, а костюм, который Катя выслала весной, уже мал, и надо бы размера на два больше. Что колбасы в Славуте по-прежнему нет, а Ленечка ее так любит. Ей же лично ничего не надо, разве что две бутылки лосьона «Свежесть». Катя приезжала в Славуту, навьюченная сверх всяких женских возможностей. С колбасой, апельсинами и конфетами, которые старики скармливали бедному моему брату за день — за два, демонстрируя Кате свое бескорыстие.

Расстроенная Катя звонила моей маме и говорила, что брат совсем утратил человеческий облик, что на его ляжки и зад страшно смотреть, что когда Мирон Сергеич ведет его в баню, за ними увязываются любопытные...

Вот почему никому из нас не было смешно, когда Фрида Аркадьевна, давясь крашенинными слезами, толковала о бандах, убивающих людей на свинину. Тем более, что в прессе промелькнула-таки заметка о некоем вполне уважаемом гражданине, пойманном на таком оригинальном промысле. В милиции то ли не читали этой заметки, то ли не могли серьезно отнестись к чему бы то ни было, сказанному Фридой, которая не в состоянии была выйти из дому, не приведя себя «в порядок», но по причине искреннего горя намазалась кое-как. И тут не помогало даже присутствие Кати, внушающей всяческое уважение. Все это были люди приезжие, они не писали годовые диктанты под диктовку моего дяди, не кружили за клубом «Беломор» с моим братом Яшей, не знали бедного Ленечку хорошеньким голубоглазым мальчиком. Не видели они, как маленький Ленечка роскошным жестом фокусника расстегивает ширинку и достает оттуда свой крошечный циркуль, и на дощатой стене сарая, так далеко, что будто и нет никакой связи между этой стеной и моим бедным братом, возникает пронзительно четкая дуга, разрастается по часовой стрелке, быстро замыкает круг и тут же против часовой стрелки выводит новый, такой же безукоризненно правильный,

будто сами собой проявились на стене таинственные письмена. Не то карта полушарий без материков, не то упавшая восьмерка — символ бесконечности. Что-то и Ленечка мог такое, чего не мог больше никто, но в милиции об этом, увы, не знали.

Дело-то они открыли, но явно желали и государству, и безутешным родственникам избавиться от обузы. Да и какими, собственно, сведениями они располагали? Толстый. Ну мало ли толстых? Допрос «свидетельницы» — Фриды Аркадьевны Бомштейн — вела, в сущности, Катя, это она вытянула из памяти старухи какого-то оборванца с длинной шеей, ниже кадыка — белой, выше — красной, морщинистой, как у индюка. И будто бы он подмигивал Ленечке... А теперь, несомненно, ходит в дорогом пальто с высоким воротником, скрывающим единственную его особую примету. Описание пальто внесли в дело. «Коричневое толстое сукно отечественного производства, три слоя ватина, коричневая подкладка шелковая, восемь коричневых пуговиц, больших, в два ряда, воротник широкий каракулевый, коричнево-золотистого цвета...»

Папино пальто! Выходное... Не вещь, а член семьи. Зревшее лет семь на шкафу в чемодане, как зародыш в пробирке, плотно укутанное, обложенное нафталином, являющееся на свет только по большим праздникам: День проветривания и День просушки. Сначала в виде отреза сукна, широкого и бархатистого, как из окна поезда — осеннее поле на закате... и так отрадно, так страшно было бродить по нему двумя детскими пальчиками, прихрамывая на короткий и указательный, от горизонта — до горизонта... искать в пещерах складок затерявшийся с лета цветок... и Ленечка, вечно подражавший мне, тоже глядел мягкую ткань ладошками, а потом бил по ней, барабанил в своем вечном маршевом ритме. Мама моя опасливо поглядывала, но забрать ткань не решалась, чтобы не обидеть тетю. А когда гости уезжали, она снова доставала отрез и находила на нем какое-нибудь невидимое пятнышко.

В каждый свой приезд тетя интересовалась папиным пальто: куплена ли уже подкладка? набран ли ватин? найден ли подходящий воротник? Будто чувствовала, что шьется это пальто для Ленечки. И все сожалела, что цвет коричневый, а не синий, который больше подошел бы к синим папиным глазам.

Тетя гордилась папиной красотой, она уверяла, что Ленечка — копия папы в детстве и в зрелом возрасте будет тоже — вылитый папа. О господи! Видела бы она Ленечку в зрелом возрасте... Впрочем, никогда она ничего не видела — вернее, видела нечто недоступное всем: вместо криво смятого лобика — просторный лоб моего папы, вместо мутных глазок — папины синие глаза. Бедная тетя Фаина! Если бы она дождала до того дня, когда мой брат по случаю сильного мороза надел нелюбимое, длинное и тесное ему коричневое пальто, то несомненно заплакала бы от

умиления и сказала, что видит перед собой живого папу, что точно таким и был папа в соответствующем возрасте.

Ну разве это не странно? В сорок восемь лет папа сшил-таки коричневое пальто. В сорок восемь лет мой бедный брат надел его — и исчез. Повернулся и ушел от Фриды, торгующей на морозе палку ненужного хрена, скрылся за сугробами. Так же внезапно, как когда-то появился из-за сугробов мой папа в новое пальто, сшитом за тот месяц, который я провела в кардиологическом санатории.

Помню, как мы стояли в беседке для посетителей... редкие снежинки заносило к нам из лесу, из легкой дневной метели... я смахивала их рукавицей с папиного круто выющегося воротника, разглаживала движением собственника борта и твердую коричневую грудь, уголком глаза замечая девчонок, как бы случайно подтянувшихся к беседке, их восхищенные взгляды... и изменяющуюся вдруг походку спешащих мимо медсестричек. Как я гордилась папой! Его глазами, его седеющими висками, его по тогдашней моде широким, как бы из гранита изваянным пальто!

Он доставал его лишь в особых случаях. И всегда это было похоже на открытие памятника — отчасти из-за белой простыни, хранящей пальто от моли и пыли. И вот оно-то — папино пальто! — на замарашке-жулке с его индюшачьей красно-белой шеей! Скорее всего уже потертое, со следами пива и засохшей блевотины, поверх невидимых следов, оставленных мною и бедным моим братом... Скорее всего, уже без воротника, так что открылась теперь его шея, безразличная милиции. А может, оно и вовсе пошло по рукам и греет по очереди бомжей в каком-нибудь подвале, где от темноты и грязи перестают существовать цвета... Воняющее, как опустившаяся шляха. Папино пальто, о котором все говорили, что папа в нем похож на профессора... Которое в день папиных похорон вынужден был надеть из-за сильного мороза муж моей сестры. Помню, как мы с сестрой боялись взглянуть на него, а потом удивлялись, что это оказалось совсем не страшно. На нем, на двухметровом, пальто сидело каким-то особым образом, очень ловко. И было странное чувство... будто папа видит это и доволен, что оно пригодилось.

Однако, посоветовавшись, мы с сестрой решили отдать его Кате для Ленечки, тем более, что она собиралась прямо от нас ехать в Славуту. Катя, единственная на похоронах родственница по папиной линии... Ибо к тому времени дядя мой давно уже упал с надкушенным бутербродом в руке, так и не узнав о том, что болен раком. Тетю прикончила-таки гипертония, которой она так жалко и комично сопротивлялась. И во всем этом, по семейному убеждению, виноват был эгоист Яша, укативший в Израиль вопреки воле родителей, чрезмерно дороживших своими партбилетами и карьерой зятя-лауреата. Даже Ленечку принесли в жертву этим святыням: Яша хотел забрать его с собой, рассказывал чудеса об израильских специнтернатах, где психически больные живут в идеальных условиях, где их приспосабливают к посильной работе и создают даже некие подобию семей. А

в Союзе Ленечку ожидает больница, где людей содержат хуже, чем животных: в зверинце, где к тому же каждый несчастный будет считать своим долгом поиздеваться над Ленечкой. Уже из Израиля Яша писал своим друзьям, просил втолковать это родителям. Но партийные родители были непреклонны. Несмотря на рак и третьей степени гипертонию...

У Катиного мужа и в особенности у самой Кати в связи с отъездом Яши были большие неприятности. Их вызывали в различные инстанции, угрожали. На осторожный намек моей практичной мамы, что, дескать, семь бед — один ответ, Катя ответила неприлично резко: мол, хватит с нее одного брата за границей, мол, нет в анкете графы, где она могла бы объяснить, что представляет собой Ленечка... Кривила душой.

Ленечкиного слабоумия она стыдилась больше, чем Яшиного «предательства Родины», больше, чем... И придумать нельзя! И ни в каком секретном отделе она не заставила бы себя сознаться в этом семейном позоре... Уж скорее бы признала себя японской шпионкой.

«Позоре»... Ну да, разумеется, слово неподходящее. Но когда горе комично... когда оно вызывает смех даже у самых близких — это все-таки немножко позор, тем более для такой самолюбивой, гордой девочки, как Катя. Катя, каждый день стиравшая свое единственное платье и пару ленточек, Катя, в течение лета решавшая все задачки из учебника не дававшейся ей математики, Катя, часами вдавливавшая в круглую голову моего брата какое-нибудь стихотворение, Катя, у которой ни одна из многочисленных выходок бедного Ленечки не вызвала даже тени улыбки...

Бедная Катя, как она бежала за ним по городу с добела стиснутыми губами, с глазами, узкими от боли! По улицам, вдоль заборов, над которыми нависали зеленые яблоки и болтали ножками вишни, вдоль огородов с загорелыми бабами. Бабы выпрямлялись, подпирала рукой поясницу и, подобно подсолнухам, поворачивали смеющиеся лица провожая моего брата, как солнце, до заката — до перекрестка, где другие бабы встречали его новым смехом, бедного моего брата-оленя... Никто не подумал броситься ему наперерез, никто не испугался, что он может покалечиться своими ветвистыми рогами, бодливо наставленными на догоняющую сестру. Рогами, торчащими из стиснутой трещинки голого, белого зада, такого же голого и круглого, как устремленная вперед голова... Мой бедный брат, олень-наоборот, петляющий восьмерками по хохочущему городу и придерживающий руками черные трусы!

Я тоже смеялась. И мама моя. И тетя! Даже дядя мой смеялся, и бил себя кулаками по вискам, и вытирал запястьями слезы. «Кто вас научил! Кто вас научил так делать?! — орала за проволочным забором соседка и мотала за локти сопливых Оську с Додькой. — Вы зачем ему ветку засунули?!» «Мы в доктола иглались! — ревел четырехлетний Додька. — Мы делали ему клизму-у-у...»

Бедный, бедный мой брат! Тогда ему было всего лет семь, и он вполне мог сойти за нормального мальчика. Тогда еще и чужие говорили, что он красивый: пухлые губки, синие глазки... Это уже хорошенько присмотревшись, вы замечали, что аккуратная круглая головка, стоит как-то... слегка туповато, с обезьяньим наклоном. Однажды Ленечка вызвал прямо-таки овации: женщины в автобусе обсуждали его глаза и темно-синюю школьную форму, только что привезенную Катей из Москвы, щелкали языками и повторяли: «Вот если бы все такими были!» Катя подавляла на своем лице судорогу сарказма и сильно сжимала ручку брата: боялась, как бы он не заговорил. Впрочем, и улыбки его хватило бы... Широкая, плоская, с недетски игривым намеком, перенатым, должно быть, у старшего брата, у шутника и остро-слова Яши. А, может, и улыбка, и намек передалась по наследству. Бродил себе такой ген — по линии моего дяди, наверное.

По линии тети и моего папы остряков припомнить не могли. От этой родни Ленечке досталась красота, именно тетю случайно миновавшая. То есть она не была дурнушкой, но сравнение с братьями ее губило. На первой странице семейного альбома тети красовалась очень качественная провинциальная фотография: теть в беретике, с мечтательно прищуренными глазами и ниспадающими бровями — как солистка квинтета — в центре, а с двух сторон, по двое — ее красавцы-братья, очень похожие друг на друга и вместе с тем волнующе разные. Они не щурились, подобно тете, вдале, наоборот — откровенно смотрели в объектив, и о каждом из этих вдумчивых и отуманенных взглядов можно было бы написать стихотворение. Папа мой, единственный из них, вернувшийся с фронта, был живым доказательством того, что красота эта не являлась следствием особенного освещения или, упаси Боже, ретуши.

И к этой-то фотографии тетя прикладывала крошечный, с белым уголком снимок Ленечки. Поверх своего лица — в центре... Боже-боже! Как слепа бывает материнская любовь! Сходство-то было... Но было и еще нечто... Куда более заметное, когда тетя повторяла свой фокус с другой фотографией. То был портрет «Ленечки-Гришиного», сына папиного старшего брата. Он был сделан перед самой войной, за полгода до того, как Ленечка и его мать погибли в Бабьем Яру.

Оба мальчика были сфотографированы в возрасте семи лет, и головки их не только совпадали по размеру, но были абсолютно симметрично повернуты друг к другу. Казалось, что Ленечка-Гришин увидел себя в зеркале. Увидел — и испугался. Ибо то было зеркало дьявола; тот же вроде бы человек, те же глаза, губы — и совсем другое выражение.

Ленечка-Гришин решительно сжимал свой крошечный ротик и смотрел исподобья с суровым недоверием... отказывался от такого продолжения, предпочитал собственную судьбу.

Рассказывали, что веселая широколицая Гришина жена, Лиза, не хотела называть ребенка в честь свекрови, которая умерла в двадцать пять лет случайной смертью. Лиза считала, что ее имя не принесет ребенку счастья. Несомненно, она говорила об этом

и с тетей Фаиной. Что же заставило мою тетю повторить ошибку брата и дать ребенку имя своей матери, о которой только и помнили, как она скакала с детьми на кровати, выпустив из разреза панталон подол рубашки, так что получался петушиный хвост, приводивший малышей в восхищение?! Почему ее не остановило хотя бы то, что это еще и имя семилетнего мальчика, расстрелянного у стены? Или моя тетя, слишком рано покинувшая семью ради строек социализма, не знала всех тонкостей этого древнего обычая? Или нашло на нее затмение — просто потому, что настала пора кончиться красивому папиному роду? А тетя самонадеянно решила, что сумела прыгнуть через поколение, через свою неприметную внешность и подарила моему папе, отцу двух кареглазых дочерей, племянника — наследника его красоты, его голубых глаз. Его коричневого пальто...

Где-то оно сейчас, поруганное, сколько раз пропито... Не пошли впрок наши сентименты бедному моему брату. Лучше бы оставили это злополучное пальто зятю для гаража. Или хоть послушались бы умных людей — воротник сняли... Но все-таки, все-таки, все-таки думаю, что и без пальто случилось бы то же. Он всегда старался куда-то убежать, будто ему известно было место, где едят варенье из банки, конфеты прямо с кульком, где можно давить в кулаке абрикосы и пирожные, где нет ни парусов одиноких, ни абэквдратов, где вечно играет военный духовой оркестр: ты-ды-ды-ды-ды, ды-ды-ды... Все марши, марши! Девушки, веселыми зубами откусывающие мороженое!

Эх! Быть бы моему брату красавцем и остроумцем, военным дирижером, нарядным, как елка, женским любимцем — кабы не...

Что? (Стремительные роды? Ведь врачам в новорожденном сразу что-то не понравилось. И тетю против всякого здравого смысла всю жизнь точило чувство вины.

Скорей уж чувствовать себя виноватым мог бы дядя: это он, зачитавшись передовой статьей газеты «Правда», позволил любопытному младенцу выпасть из коляски. Тогда никто особенно не испугался; мало ли детей выпадало из колясок! А другой случай, связанный с Яшей, так и вовсе рассказывали как забавную историю со счастливым концом.

Яша любил своего братишку со страстью и нежным удивлением — так подросток может любить принадлежащего ему зверька. Он повсюду таскал Ленечку за собой, и однажды под ним, долговязым и тощим, проломилась доска на вышке, с которой местные спортсмены прыгали в воду. Яша, ко всеобщему восхищению, приземлился на ноги с крепко прижатым к груди ребенком. О сотрясении никто и не подумал... Это уж впоследствии, когда заполняли историю болезни, врачи просветили.

По их мнению, каждое из описанных происшествий могло сыграть роковую роль. Но приоритет, как и все домашние, они отдавали тому самому случаю, тому роковому дню, когда Ленечка, уже начинавший лепетать, поковыляла за нянькой в сарай и заглянул в открытый погреб, куда преданная старуха полезла во-

ровать творог для вечно голодного Яши. Она увидела, как в уголок солнечного света, достигающего в полдень сырого земляного пола, вписался темный кружок, будто отметивший место для приземления, и тут же на это самое место грохнулось головой детское тельце. Сначала нянька подумала, что дитя разбилось, но, поняв свою ошибку, стала горячо благодарить Бога. Припадала лбом к мешку картошки, просила, чтобы он, раз уж свершил чудо, свершил бы еще одно: скрыл глубокий след ее оплошности — косую вмятину на темечке ребенка.

Бог и тут пошел ей навстречу: вмятина до вечера разгладилась и, что уж совсем чудесно, не осталось даже маленького синяка. Правда, малыш надолго перестал разговаривать, но это заметили как-то не сразу; он и до того особой сообразительностью не удивлял. И только много позже, когда начали судить да рядить, ездить по врачам, старуха созналась тете, а тетя — постепенно, с подготовкой — дяде. Дяди в доме не то чтобы боялись... боялись его бурных реакций на самые незначительные неприятности. И больше всех — именно нянька. Старуху не так пугало то, что ее, ни на что уже не годную, выгонят из дома, где она прожила шестнадцать лет и надеялась спокойно умереть, как то, что дядя станет кричать, бить себя кулаками по широким вискам, рвать свои курчавые черные волосы... Это его невыносимое «вэ-эй!» вкупе с «сибирским» говором...

Ах, мой бедный дядя! За что судьба сочетала его доброту с такой скандальной вспыльчивостью, с колючими чертами, вечно готовыми исказиться в судороге гнева или сарказма? Дядя, с его сумасшедшими очками в круглой черненькой оправке, дядя, боготворящий мечтательный флегматизм своей начитанной жены и не доверяющий ей в ничтожных бытовых мелочах, сам заправляющий борщ и смолящий кур, личной ненавистью ненавидящий империалистов, колонизаторов и эксплуататоров, а еще больше — собственных учеников, тупиц, неспособных без двадцати ошибок написать диктант, который он диктовал по слогам: «Надо хо-ро-шо у-чить-ся», ввинчивая в их ленивые мозги каждую букву, а они не только не повышали свою успеваемость, но еще и передразнивали дядину несносную речь, его профессиональную инвалидность... он ведь иначе говорить уже не мог. Не «малако», а «мо-ло-ко», не «цыфра», а «дии-фра»... Слушая его пронзительный голос, незаметно вытирая со щеки каплю слюны, предназначавшуюся вообще-то Эйзенхауэру, я думала: не в наследственности ли первопричина несчастья...

Впрочем, тут только начни, только сделай допущение... Да и кто из нас поклянется, что нормален на сто процентов? Во всяком случае, не я.

Ну спрашивается, что мне стоило ответить моей бедной тете, вечно задававшей мне один и тот же литературно-философский вопрос: «Какое качество ты ценишь в человеке превыше всего?» — и ожидающей ответа: «Доброту», — что мне стоило именно так и ответить, вместо того, чтобы с жестокой твердостью отвечать каждый раз: «Ум!» «Ум!» «Ум!!» Зачем мне, в об-

щем-то незлой девочке, привязанной к тете и очень хорошо ее понимающей, было мучить ее и колоть ее своей правдой?

В свое оправдание могу сказать лишь то, что я в бедном брате моем не замечала и особой доброты. Никогда он не порывался поделиться с нами какой-нибудь ерундой — наоборот, сжимал крепко в мокром кулачке мандаринку, печенье, конфету, так что иногда оттуда начинало капать что-нибудь розовое или коричневое. И, поедая свое сокровище, он смотрел не на него, а на оставшееся в общей тарелке или отданное другим детям, сопровождая своими синими глазами каждый кусок в его челночном следовании туда и назад. О Господи! Вернуться бы в прошлое и отдать ему все яблоки и шоколадки, к которым мы были не так уж и жадны — а поэтому ели не торопясь и заставляли его, вмиг сжевавшего свою долю, сглатывать, мять губами, выжидающе хихикать... Он мог как бы невзначай подхватить что-нибудь, оставленное нами на столе, но, надо признать, ни разу ничего не отнял, даже у моей сестрички — младшего ребенка в родне. Он был безобиден, и это моя тетя принимала за доброту.

А красота? Что принимала она за красоту, когда от красоты уже и следа не оставалось? Когда разросшиеся красные губы выпятились вперед и вверх и, как моллюск, живущий собственной жизнью, все шевелились, то предвкушая, то дожидая что-то... Когда неопрятная юношеская щетина облепила клочками подбородок и щеки... Когда после смерти няньки стала вдруг проявляться глубокая, как овраг, впадина, державшаяся до того, по-видимому, только молитвами бедной-старухи... Уже волнистые волосы брата стали седеть и редеть, и зад его не умещался ни в одном кресле — а тетя устремляла на него свой голубой очарованный взгляд и повторяла с жаром: «Такой красивый мальчик!» И еще — с вдохновением, прищурив в даль мечтательную бровь: «Посмотри, как он похож на твоего папу! Одно лицо!»

Господи! А как восхитилась бы она, доведись ей увидеть Ленечку в коричневом пальто... С золотистым каракулем вокруг бычьей накрененной шеи...

Но все-таки, все-таки в чем-то она была права. Было что-то общее между ней, папой и бедным, дважды неудачно названным Ленечкой — что-то, касающееся только их троих. Не оттого ли я злилась в детстве на тетю? Читала «Бесов», высоко поднимая подбородок как бы назло ей. «Мчатся тучи! Вьются тучи!!» (Хоть я и не мальчик! Хоть у меня и не синие глаза!) «Невидимкою луна освещает снег летучий!»

Вообще-то я не любила эти семейные концерты, где Яша пел сатирические пародии на песни советских композиторов и рассказывал анекдоты про «Перчика»; где моя годовалая сестренка показывала, как «делают» кошечка, курочка и собачка; где моя мама «играла» на расческе. Бедному Ленечке тоже очень хотелось выступать. Он все норовил выскочить на середину комнаты, но дядя ловил его за локоть и весело повторял истеричным фальцетом: «Сиди тихо! Не позорь меня! Когда ты открываешь рот, оттуда летят козьи какашки!» Но Ленечка все-таки выры-

вался, принимал артистическую позу... И тут происходило нечто странное: все ждала чуда. И я ждала! Каждый раз была уверена, что вот сейчас-то он откроет рот и расскажет стихотворение почище «Бесов». Но... На «Бесов» моих он не посягал. Перевернул каких-нибудь два предложения из Яшиного анекдота. «Товарищ учитель! Целуйте меня в затылок!» И, радостный, убежал. А то еще однажды стал рассказывать: «Петушок делает кукареку! Курочка делает ко-ко-ко!» Договорить ему дядя не дал.

Ну? Так не сумасшествием ли было орать за это на ребенка, обзывать его дураком — и при том надеяться, что терпение и упорство позволят Ленечке... получить высшее образование?! Не глупо ли было год не разговаривать с моей мамой, давшей, как всеми было признано позднее дельный совет? «Я — директор школы! — вздувал на висках жилы дядя. — А ты предлагаешь мне отдать сына в сапожники?! Своих детей ты тоже собираешься в сапожники отдать?!» Впоследствии утешались тем, что и это ремесло он вряд ли бы осилил. Бедный мой брат, сын директора! пойманный олень! Все-то его неволили! То он дома дрожал над учебником химии, ссутулясь под грозным взглядом отца, то трясся в школе, чуя надвигающийся вызов к доске... и в мозгу его судорожно трепыхалось что-то, белело в голубом тумане: то ли парус одинокий, то ли Пифагоровы штаны... И в конце концов он бросался своему ужасу навстречу с поднятой рукой. Да еще во время директорской проверки... При бедном моем дяде, с его вечной сумасшедшей надеждой, что вот сейчас наконец-то Ленечка скажет нечто разумное! И Ленечка говорил: «Земля едет на верблюде!» И садился, довольный разразившимся смехом, считал себя шутником, любимцем общества, таким же, как брат Яша. Он и в больнице все подражал брату; подмигивал девушкам, путал что-то про Рабиновича и Пушкина, радовался, что веселит людей. Вечно побитый, поскольку целыми днями пел военные марши, очень громко и в нечеловечески четком ритме, воспроизводя звуки и призвуки оркестра: «Та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам, дам! дам!..» И бил руками по столу, по тумбочке, по подоконнику, как по клавишам пианино.

Бедный мой брат — непризнанный полковник, дирижер и беременный жених Терешковой! Отдающий честь каждому военному, предлагающий руку и сердце каждой красивой девушке! Все-то он норовил куда-то убежать: то от Кати с ее «Улукоморьем» и белыми губами; то от дурака-физика, упавшего, видимо, не в погреб — в кратер головой и назначившего Ленечке переэкзаменовку на осень; то из больницы, где у него отнимали надкушенный прямо с фольгой сырок и доказывали, что он не грузин! не дирижер! и не беременный от Терешковой, а просто обожрался; из картонажного цеха, где пригородные дуры-девчонки унижали его мужское достоинство, высказывая предположение, что он — «не годится», раз до сих пор не женат. Доводя до того, что бедный мой полковник начинал расстегивать свои пифагоровы пуговицы... Они поднимали визг стыдливого возмущения и вызывали начальство.

Убегал, убегал, убегал! Убегал от придурковатой невесты с ее радушными родителями, белым и плоским, как живот, лицом и четырьмя моргающими пупками вместо глаз, рта и носа. Галантно объявил, что хочет в уборную — и оттуда дал стрекача! Бежал, по-оленьи подавшись вперед и бодливо склонив смеющуюся голову, бежал куда-то в счастливые, нам недоступные дали, в неведомое место, где можно из зала дирижировать оркестром, угощать девушек бесплатным мороженым, где вместо одного солнца светят три... Прочь, прочь из собственного дома, от пьяницы-квартиранта и его беременной соплячки-жены, полагавших своей обязанностью нагло портить и красть Ленечкины вещи, проедать его пенсию, его самого выгонять на холодную кухню, обзывать жидом и идиотом... Они искренне не понимали, почему сердится Катя и за что их выгоняет этот город, впервые вступивший за своего дурачка! Прочь и от него, от города — в Небесный дом офицеров, по снегу, раздвигая сугробы жирным телом в длинном и тяжелом, почти совсем новом коричневом пальто. Прочь от Фриды, совсем ополоумевшей после смерти мужа, с ее шляпками, с ее личиком, разукрашенным будто детской рукой, от Фриды, с материнской гордостью сообщавшей Кате о том, что Ленечка поправился и старая одежда на него больше не годится, а денег на еду не хватает, так что Катя в конце концов была вынуждена взять доллары, переданные опальным Яшей из Израиля, ибо то самое знаменитое наследство, целиком оставленное для Ленечки, инфляция слопала враз и походя, как сам он мог съесть пачку вафель. И на эти деньги бедная Фрида, вечно бесящаяся, что ей нечем будет принять гостей, с утра до вечера варила каши и супы, и огромные куски мяса разваривала до того, что их нельзя было отличить от свалившейся в кастрюлю тряпки, и нарубленную капусту по рассеянности бросала в казан с позавчерашним скисшим супом, а крупу засыпала в бак, где вываривала полотенце... И всем этим она душила, заливала моего бедного брата, грозила, что если он не будет есть, она умрет или уедет к дочке в Коростышев, а его отдадут в больницу навсегда! И он ел, ел, ел, пока не переставал замечать девушек, пока не пропадала охота петь и выбивать ритм по Фридину столу, заставленному посудой и бутылками, пока от сытого вздоха не осыпались с рубахи пуговицы, пока не лопались городу на потеху брюки на чудовищном заду.

Этот зад всем приходил на память, когда Фрида, в очередной раз возвращаясь из милиции, плакала, пачкая vareжки мокрой пудрой вперемешку с румянами, и толковала встречным про бандитов, промышляющих человеческим мясом. Каждый взвешивал мысленно неохватные ляжки и живот моего бедного брата, и постепенно это превращалось в настоящее наваждение, в городской кошмар. Особенно густел он на базаре у мясного ряда, где крестьяне, ни о чем таком не слыхавшие, дивились на опасливо-брезгливые гримасы покупателей, которые вдруг стали придирались то к размеру, то к цвету куска, брошенного на весы, попытаться, почему тушу не привезли целиком, и сало им ка-

залось то слишком мягким, то слишком твердым, а шкурка — и вовсе подозрительной.

И как бы наперекор этому тайному страху поползли по городу слухи. Будто видел кто-то Ленечку в рабочем поселке и отбил его, окровавленного, у расходившейся толпы. Будто часто мелькает он в своем коричневом пальто на той окраине города, где строятся химзаводские. Будто некий старичок, персональный пенсионер, прячет его в своем особнячке отчасти из практических целей — наколоть дрова, принести, из колодца воду, — отчасти же из жалости и человеколюбия, и ходит он аккуратный и ухоженный, как никогда.

Эти толки, наряду о надеждой, вызывали у Фриды Аркадьевны такую болезненную ревность, что она тут же бежала в милицию заявлять на преступного старика. Вызывала из Москвы Катю и таскалась за нею по химзаводской слободе, цепляясь ко всем старикам, резко переходя от враждебности к полному доверию, совала им безмерно льстивый Ленечкин портрет двадцатилетней давности, годный лишь на то, чтобы ввести людей в заблуждение, покоробленный от Фридиных слез и розовый от ее поцелуев. К тому же она неизменно повторяла, что в жизни он гораздо лучше, ибо страдала тем же помрачением (или просветлением) рассудка, что и моя тетя: видела в нем красавца.

Катя обращалась к детям, вечной добычей которых до седых волос оставался бедный Ленечка. Те пожимали плечами. В милиции, стекленея взглядом от подавляемого раздражения, повторяли Кате, что дело еще не закрыто, показывали сводки ограблений и убийств «нормальных, стоящих» людей, предлагали привести хоть одного свидетеля, который бы видел Ленечку своими глазами. Катя искала, пока не кончался с трудом и унижением взятый за свой счет отпуск. Несчастливая Фрида, смертельно боящаяся одиночества, особенно ночного, стала изредка вспоминать о своих собственных детях, о каких-то их обидах и требованиях куда-то переехать...

Милиция и не думала разыскивать Ленечку. Преступность росла, как дрянной гриб на сгнившем здании. Ни денег, ни людей, ни технических средств не хватало — и в таких условиях разыскивать какого-то идиота! Сам найдется. Или труп его проявится из-под снега весной. Разве это не лучше и для него, и для его очкастой сестры, и для ее кацапа-академика, и для государства в целом? Что же им, перелопатить весь снег в области, в то время как здесь, в городе, девчата боятся пойти вечером в клуб?

Они не догадывались, в каком ужасе содрогался город, за неведомые грехи приговоренный всю зиму жевать котлеты, хлебать суп из моего бедного брата. И, как индульгенции, ждать весны, когда покажется над сползающим снегом коричневый рукав пальто, сшитого лучшим в Киеве портным. И все убедятся, что не виновны в канибализме, что не ели мясо оленя — сына сердитого директора, который сам смолил кур и диктовал свой бесконечный диктант, подкашивая каждую букву, вбивая ее, как сапожный гвоздь. Сына доброго моего дяди, измотанного вой-

ной, нищетою, школой, тяжелым международным положением, Яшиными ногами, злокачественно вырастающими из брюк, а главное — туманным будущим городского полковника и дирижера. Ненаглядного сыночка преподавательницы русской словесности с ее вечным припевом «Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, темно-голубые...» С ее мечтательно-голубыми глазами, будто иллюстрирующими эти стихи.

Но избавление пришло раньше. В феврале Женя Буряк, Катина подруга детства, с которой Яша целовался в девятом классе, встретила Ленечку в здолбуновской электричке, где он очень успешно, с большим знанием дела просил милостыню. Женя уговаривала Ленечку ехать с нею, стыдила, старалась вызвать сочувствие к Кате и исплакавшейся Фриде Аркадьевне.

Последнее его задело, и он твердо пообещал вернуться, как только соберет деньги на костюм и золотой перстень. За этими словами чувствовалась чья-то подсказка, чье-то тонкое понимание Ленечкиной сути, и Женя побоялась тащить его силой, полагая, что этот «некто» находится поблизости. К тому же брат мой, по словам ее, был невероятно грязен, запущен, как Робинзон, и несомненно вшив.

Женю с триумфом представили милиции, но и наличие объективного свидетеля не вызвало там ожидаемого энтузиазма. Даже как бы укорили предыдущим разнообразием версий. Хотя кто и в чем здесь был виноват? И откуда могли знать Катя и безутешная Фрида Аркадьевна, что те версии были ложными? Да и были ли? Чем они противоречили друг другу? Разве не мог мой бедный брат оказаться в рабочем поселке по поручению старичка-пенсионера? И не сам ли старичок научил его просить милостыню по электричкам... Причем запущенный, убогий вид моего брата был обдуманым и вдохновенным созданием старичка. Может, он, как опытный модельер, окидывал Ленечку прицельным взглядом — и надрывал рукав на его плече... кряхтя, откручивал пуговицу, крепко пришитую к коричневому несносимому сукну... А впрочем, нет. Пальто на Ленечке как раз и не было. Возможно, лежало оно, пересыпанное нафталином, в сундуке у хозяйственного персонального старичка, которому удачливый мой брат собирал по электричкам на «Жигули», пока не надумал, что пора ему справиться себе костюм и купить золотой перстень.

А может, и не было никакого сундука. Может, и до сих пор пылится оно в прихожей на гвоздике, пальто моего папы, то, с которого я гордо смахивала заблудившиеся снежинки, висит, дожидаясь безразличного к нему Ленечки... А беспомощный старик, так же, как и Фрида, боится спать один в пустом доме и, как Фрида с портретом, разговаривает с коричневым пальто.

Бедный мой брат, вечный беглец, втянутый за руки в едущий поезд солдатиками-новобранцами. Они спасли его, жалобно визжащего бородастого младенца, от разъяренной стаи собратьев-нищих. Утаил он от них часть своего дневного заработка? Влез на

чужую территорию? Или они просто не хотели отпускать на волю звезду своей бродячей труппы? А может, это были вовсе не нищие, а базарные торговцы, у которых он и прежде имел обыкновение пробовать до отвала клубнику, семечки, творог, стоило лишь отвернуться моему бдительному дяде, моей рассеянной тете, моей строгой сестре Кате, моему веселому брату Яше, восхищавшемуся Ленечкиной предприимчивостью и солидным видом, с которым он ходил от хозяйки к хозяйке, вдумчиво жевал и неодобрительно крутил носом... Легкомысленный, не понимал он, что дядя прав, что Ленечку за такие выходы когда-нибудь убьют. И убили бы, если бы не мальчишки-солдаты, захваченные внезапно жалостью к несчастному дурачку, который мог бы быть отцом одному из них, если бы не скоротечные роды, нянькина оплошность, неудачное имя, коляска, гнившая доска.

Бедные дети, сиротские лысые головушки! Вырванные с хрупкими корешками из родного дома, они впервые ступили на путь доброты, защищая бездомного калеку. Соревновались в великодушии, спасаясь от собственного страха. Они укутали Ленечку в одеяла, напоили горячим чаем и совали наперебой захваченные в дорогу пирожки, а он их глотал, глотал, глотал, раскусывая надвое и не ощущая запаха и неповторимого привкуса чужого жилья, чужого уюта... Жалобно скулил и отвечал на вопросы что-то невнятное... Славные дети! Они и утром не оставили его на произвол судьбы. Прибыв к месту назначения, обратились в милицию, а оттуда сами же и отвезли... А куда же еще?! Туда. В надежное место, которым пугала его бедная Фрида, когда он отказывался есть ее вареное полотенце, куда давно хотел сдать его разумный и добрый человек — Катин муж, ибо справедливо полагал, что такие заведения для того и созданы, чтобы сделать жизнь подобных людей сносной и неоскорбительной для них самих и их ближних. Эх, не видел выдающийся физик этих заведений! И солдатики не видели... Они почувствовали большое облегчение и радость от исполненного долга, когда сдали своего найденыша с рук на руки симпатичной пожилой женщине, не заинтересовавшейся, правда, ни героическим прошлым их полковника, ни его дирижерской карьерой. Она и более важных вещей уточнять не стала.

Тем бы все и закончилось, не начнись в больнице ремонт. И тогда только, в конце июля, когда стали прикидывать, кого бы из пациентов выписать домой, попробовали узнать у заторможенного моего дирижера, из какого он города. «Дедуктивный метод» сработал: Ленечка знал, из какого он города. Они тут же связались с главврачом славутинской психбольницы, у которого моя тетька была классной руководительницей. Тот вызвался сообщить Ленечкиным родственникам и милиции полученные сведения.

К тому времени милиция дело еще не закрыла, но отчаявшаяся Фрида уже согласилась ехать со своими плохими детьми в Израиль, более того — уже продан был ее дом. Фридины дети, уставшие от полугода уговоров и скандалов, предпочли бы скрыть от старухи радостную весть, но это было невозможно.

Фрида, никогда не умевшая трезво оценивать свой возраст и свято уверенная в омолаживающем воздействии на организм пудры и помады, намазалась сверх своей обычной меры, хозяйственно подоткнула ногой горы грязного тряпья по углам, сварила три кастрюли гречневой каши.

Готовилась начать новую жизнь в своем проданном доме... Не был в восторге и директор Кати, сытый ее отпусками «за свой счет».

Многодетная же Галина Кондратьевна, соседка Ленечки — так просто была разочарована. Ей исполком пообещал присоединить Ленечкину половину дома, как только «вопрос решится». И вот оно чем кончилось! К тому же за пятнадцать лет, прожитых Ленечкой у Фриды Аркадьевны, Галина привыкла к чисто символическому наличию соседа и безвозмездно пользовалась его огородом и садом. Конечно, ее можно было понять. Ее и понимали. И втайне злорадствовали. Нарочно заводили Галину, и она расходилась, кричала, что не пустит Ленечку во двор, потому что он для детей опасен.

И уж во всяком случае в уборную, поскольку Катя не давала, на переоборудование ни копейки... и никаких квартирантов Галина не потерпит — пусть обходятся, как знают... для таких, как Ленечка, строят интернаты, и Катя сама была бы рада, если б он не нашелся, потому как ей «больше всех надоело и только стыдно людей!»

Ну... Надоело — не надоело, а скажем так: Катя действительно устала. Но дело было не в «людях», а в преобладающем над всеми ее чувствами чувства долга. Это оно поднимало Катю по первому же звонку Фриды Аркадьевны, заставляло ее выбрасывать на ветер деньги, тащить с двумя пересадками верблужью кладь, ночевать в промозглом, мертвом доме, куда и мыши боялись войти, чтобы сгрызть оставленную месяц назад на столе четвертушку хлеба.

Нет, разумеется, она не желала смерти своему маленькому брату-олену, у которого вечно был какой-то непорядок с трусами, вечно они скручивались у него то вниз, то набок, выставляя что-то лишнее... своему брату-полковнику, которого дядя стыдился, и любил, и обзывал то «Голопупенко», то «Голопопенко», и замахивался на него недощипанной курицей... Что же тогда? Может быть, за эти полгода поисков Катя пришла к мысли, что беглому Ленечке без них без всех живется гораздо вольнее и счастливее, чем прежде? Катя вспоминала, как убивались родители, уверенные в том, что Ленечка пропадет, лишь только их не станет. И дядя один за другим глотал шарики нитроглицерина, а тетя, вызывая тошноту у окружающих, ела, ела, ела апельсины, веря, как Фрида в косметику, в их чудодейственную способность продлить, поддержать угасающую жизнь... Все ради Ленчки. И что же? Разве Ленечке в мохнатой берлоге Фриды Аркадьевны не было лучше, чем в родительском доме? Никто его не ругал за грязные брюки, не запрещал до отвала есть, не таскал каждую неделю в баню, не исправлял его речь и не смеялся над ним,

никогда не смеялся, не сердился из-за нечищенных зубов или развязанных шнурков, не... Лучше, лучше было ему у Фриды Аркадьевны! И порой Кате думалось, что там, куда он сбежал в коричневом пальто и с буханкой хлеба на дне кошелки, ему еще лучше, даром что нам этого не понять.

Может, так оно и было. Может, солдатики тогда ошиблись, и никто не собирался его убивать. Может, те, догонявшие его на полустанке, так же хотели ему добра, как Катя — когда-то, смеясь и плача... за оленем... Бежали, пытаюсь спасти Ленечку от доброты наивных солдатиков, которые, увь, как и милиция, как и врачи, очерстевшие от чужого горя, не догадались сразу спросить у бедного мужа Терешковой, в каком же он городе-то жил до женитьбы... Не дожидаясь капитального ремонта. Да он бы им не только город — точный бы свой адрес назвал, и адрес Фриды Аркадьевны, и Катин... Да что там адрес! И теорему Пифагора! и сумму квадратов!! и... разное еще, что я забывала, едва слышав дребезжание последнего звонка. Все то, чем бедная моя тетьа тешила свое материнское честолюбие, спрашивая по очереди меня и бедного Ленечку, когда я приезжала в этот город, единственный на свете город, где бывают молодые зеленые шишки, где подсолнухи на огородах изо всех сил помогают светить солнцу, где из каждого початка кукурузы торчит оставленный на память клочок желтоватой седины старой няньки, которая молится за всех нас, и особенно — за солдатиков, протянувших из тамбура детские руки недосмотренному ею младенцу. Молится своей «Матке-боске», а дядя — Карлу Марксу, а тетьа — архангелу Михаилу Лермонтову: пусть все эти солдатики, живые и неведимые, вернуться к своим матерям!

Рувим, племянник Фриды Аркадьевны, посланный забрать Ленечку из пятихатского интерната, не додумался уточнить имена и адреса этих ребят, хотя и то, и другое наверняка было зафиксировано в каких-то документах. Он вообще был похож на свою тетку некоторыми странностями: единственным, о чем он навел подробные справки, было коричневое пальто. Хотя мог бы поинтересоваться и гораздо более существенными вещами: куда, например, делись Ленечкины зубы и пальцы. Но поскольку на этот счет не было никаких указаний тетки, он сосредоточился на пальто, можно даже сказать, учинил скандал. Его уверяли, что в момент госпитализации пальто на Ленечке не было.

Одежда, переданная Фридой, оказалась на Ленечку невозможно велика.

Его хрупкий скелетик кое-как задрапировали огромной рубашкой, квадратные штаны наподобие мешка обвязали веревкой вокруг хребта. Так он въехал в город, мой брат-полковник, съеденный за зиму рождественский боров, с глубоким оврагом в остриженной голове... Шел по улицам, будто принимал парад возвратившийся из плена вождь, отдавал честь однопалой рукой, похожей на сломанную расческу, и удивлялся и тревожился, почему никто не смеется. Даже девушки, которым он мимоходом предлагал эту самую свою руку и сердце, лишь чуть отстраня-

лись. Они неловко переминались с ноги на ногу, пока он, внушительно и честно глядя им в глаза, обещал, обещал, обещал: «Я женюсь!» А два солдата, попавшиеся навстречу, растерянно ему откозыряли.

Одна лишь Фрида Аркадьевна встретила Ленечку как ни в чем не бывало.

Если и всплакнула слегка — так только от радости. То ли ей в самом деле представления заменяли реальность, то ли она так твердо верила в свою способность довести полковника до прежней красоты... Она тут же поставила на стол три кастрюли гречневой каши, хотя Рувим сразу уточнил, что Ленечка не голодный, что за недолгий путь от Пятихаток он съел полтора кирпича хлеба и почти килограмм колбасы, купленные в привокзальном буфете для них обоих. На деньги Рувима. Тем не менее Ленечка набросился на Фридину кашу с жадностью. Растирал по небу языком крупные комья и трудно заглатывал. Рувим и себе набрал тарелку, предварительно попытавшись выяснить, в какой из кастрюль каша свежее. Она везде показалась ему чуть подкисшей, но за неимением выбора он поел, давядь под укоризненным взглядом бедного моего брата.

Рувим, все же менее бестолковый, чем старая его тетка, предположил, что Ленечке может быть вредна такая резкая перемена в режиме питания, но Фрида ответила, что он ничего не понимает.

После третьей тарелки каши Ленечка широким жестом отодвинул посуду с края стола и окинул его ласкающим взглядом — так виртуоз, возвратившись из дальних странствий, оглядывает любимый инструмент. Он осторожно приподнял свои испорченные руки и легонько опустил их на стол, как бы пробуя, но стол Фриды Аркадьевны, заставленный тарелками и кастрюлями, и бидонами, и бутылками, и жестянками от прошлогодних консервов, отозвался могучим, прямо-таки симфоническим звучанием.

«Туду-ду-ду
Дум! дум! дум! дум!» —

вступил Ленечка...

Катя, приехавшая двухчасовым поездом, застала этот концерт в самом разгаре. Остановить полет Ленечкиного вдохновения не удалось даже Фриде Аркадьевне с ее проверенным средством — четвертой тарелкой каши. Катя, изо всех сил стараясь не срывать свое отчаяние на Фриде Аркадьевне, попыталась объяснить ей, что в данной ситуации перекармливать Ленечку может быть опасно. Но Фрида Аркадьевна сурово отчитала Катю: «У твоих родителей он по два раза в году попадал в больницу, а у меня — за пятнадцать лет ни разу». Она совсем забыла об Израиле, снова чувствовала себя необходимой и привычно злоупотребляла этим: толковала о выросших ценах, о зимних сапогах, которые перестали налезать на ее ноги. Спрашивала Ленечку, с кем он теперь хочет жить. «С тобой, с тобой, Фрида! Буду

жить с тобой! Ты — моя мать, Фрида», — заводился он минут на пять, как дятел. И бедная Фрида Аркадьевна блаженно праздновала свою победу. Не столько над Катей, сколько над легендарным старичком-пенсционером.

Катя все понимала, Катя была благодарна старухе, но выдерживать ее больше не могла.

Она увела Ленечку в истлевший родительский дом, якобы для того, чтобы прекратить происки многодетной Галины Кондратьевны. Довод был неопровержимый. Фрида отпустила их с условием, что на ужин они вернуться к ней, и тут же грохнула на плиту черную снаружи и изнутри кастрюлю. Перед уходом Катя, к ревнивому удивлению Фриды Аркадьевны, взяла клюку покойного Мирона Сергееча и, задыхаясь от брезгливости, стала ворошить горы слежавшегося тряпья по углам комнаты и кухни. Это была удачная мысль; в самой глубине, как и предполагала Катя, оказались старые Ленечкины вещи более приемлемых для него в настоящее время размеров.

Увязанный узелок потащил за Катей Рувим. Идти было недалеко, но бедный мой брат-олень часто останавливался, тяжело дышал. Катя с Рувимом тоже останавливались, продолжали свой бесплодный разговор о квартирантах, опекунах, о Фриде Аркадьевне, которой все равно уже не справиться с Ленечкой, о Яше, который уехал себе и свалил на сестру непосильный груз... Несколько раз, проверяя, отдышался ли брат, Катя замечала его руку, вытянутую вперед разбитой лодочкой и воровато ускользящую за спину под ее взглядом. Причем улыбка Ленечки, запавающая и отползшая под нос, пугала Катю своим нагло-радостным выражением. Рувим подтвердил опасения Кати: да, полковник просит; сын парторга, исключенного из своей безжалостной партии за блудного сиониста Яшу, сын директора лучшей из трех городских школ протягивает руку за милостыней, стоит лишь на секунду от него отвернуться, причем дают ему охотно и много, так что всегда найдется мерзавец, желающий нажиться на несчастном калеке. И честный Рувим вытащил из заднего кармана пятитысячную бумажку, о которой совсем забыл.

Эта новая проблема оглушила Катю, но не парализовала ее обычную активность. Она тут же занялась проветриванием, стиркой, сооружением брюк особого устройства, ибо бедный мой красавец-брат больше не мог пользоваться пуговицами или молнией. И пока Катя пришивала к его широким брюкам детские бретельки, ей пришлось раз шесть сопровождать в уборную, как бы назло кипящей от негодования Галине, бедного экс-чемпиона города по рисованию лежачих восьмерок на задней стене сарая. Теперь под этой самой стеной стояла мотоцикл зятя Галины, и она не собиралась искать для него новое место. Она бы с удовольствием поскандалила, но здравый смысл взял верх, и Галина предложила Кате деньги. Доводы ее были достаточно разумны; она уверяла, что таких дураков, как Фрида Аркадьевна и Мирон Сергееч, Кате больше не найти, что никакие квартиранты Ленечку не выдержат, да и она, Галина, со своей стороны,

не пустит никого за калитку. А за ее деньги можно будет дать взятку и пристроить Ленечку в какой-нибудь подмосковный интернат, у Кати под боком. «И за вещи что-то получишь, — налегала соседка, чувствуя нарождающуюся в Кате слабость. — Я б сама купила у тебя зеленый ковер...»

И тут Ленечка, будто бы безучастный к разговору, вскочил с лавки, на которой перед этим ненастойчиво отбивал ритм «Прощания славянки», вскочил и, размахивая своими однопальными руками, заорал с офицерским гонором, что не допустит. «Здесь все мое! — надрывался он. — Опозорю! Я — хозяин! Я вас выведу на чистую воду перед общественностью!» Рычал, оглушая всех ватным баритоном и бог знает где подобранными словами. Видно, был, был все же старичок-пенсионер, персональный кляузник!

«Опозорю!» И Катя никак не могла его успокоить, пока не пригрозила больницей и не сделала вид, что идет вызывать «скорую помощь». Она и вызвала скорую, только попозже, ночью, после глупейшего похода к Фриде Аркадьевне, которая весь твой, купленный Катей на ужин, свалила в тарелку Ленечки, насыпала сверху сугроб сахара...

Николай Николаевич, дежурный хирург, некогда подготовленный моим дядей к переэкзаменовке по русскому языку, сообщил Кате, что Ленечка эту ночь не переживет, хотя операция и прошла успешно, ибо дело здесь не в устраненном завороте кишок, а в полнейшем истощении всего организма. Вера Савельевна, мать Катиной подруги Нэли, в сорок пятом распределявшая по госпиталям узников Освенцима, уверяла, что подобное видела только тогда, и советовала Кате подать в суд на пятихатский интернат. Николай Николаевич утверждал, что это пустая трата времени, что медицина находится в ужасном состоянии: ни денег на еду, ни лекарств, ни белья, и бесполезно говорить теперь о психиатрии, где и в хорошие времена было неблагополучно, где и прежде не реагировали на то, что больные избивают слабых и отнимают у них еду. Кстати, о еде: неплохо было бы на всякий случай принести для Ленечки кислое питье.

Добросердечная Вера Савельевна взяла это на себя. А Катя всю ночь проплакала в больнице.

Клюквенный морс Веры Савельевны пригодился. В полдень появилась откуда-то еще бутылка. К вечеру их было уже несколько, так что Катя стала раздавать излишки больным из соседних палат.

На следующий день, после того как Ленечка открыл глаза и спросил у Веры Савельевны, пойдет ли за него замуж русская девушка, Катя поспешила домой варить бульон. Газа в старом баллоне давно уже не было.

Идти к Фриде не давала брезгливость, да и видеть ее почему-то не хотелось. Проситься к соседке не позволяла принципиальность. Катя знала, что Галина сама предложит ей свои услуги, и искала, в какой бы форме от них отказаться. Решилось же все замечательно просто: у калитки Катю ждала Маня, мать «юных медиков» Додьки и Оськи. Мучаясь от страха перед Катиной

гордостью, она вертела в руках красный термос. «Я слышала, ему уже можно бульон. Вот. Я только что сварила, свежайший». В больнице Катя застала четыре термоса и три литровые банки бульона. В каждой из них плавала, как в аквариуме, куриная нога. Вера Савельевна не решалась распорядиться передачами без Кати. Она знала только, что один из термосов и лимоны принесли из синагоги, а банку с четвертью курицы притащила старуха из польской общины, где вспомнили, как крикливый мой дядя и мечтательная тетя почти год кормили с ложечки гниущую заживо няньку, недосмотревшую их дитя.

Кате так и не пришлось заниматься едой. Эти заботы полностью взяли на себя польские и еврейские старухи, Все в городе знали об этом, но люди несли, несли, и палата Ленечки была забита термосами, кастрюльками, банками с компотами и супами, котлетами и вареньем.

Николай Николаевич разрешил давать Ленечке все подряд. Несколько раз он пробовал отключить капельницу — и Ленечка тут же слабел, переставал отвечать на вопросы. Капельницу подключали — и он снова становился полковником и грузином, ухаживал за медсестричками и ел: бульон с фрикадельками, бисквитный торт, рыбную котлету, вареники с творогом, черничный кисель, тушеную картошку с грибами; слизывал красную икру с бутерброда и крем-безе с песочного пирожного. Сжимал в кулаке экзотическое городское лакомство; куриную голову со всеми регалиями на длинной шее, начиненной мукой, печенкой и луком. Разглядывал в упор куриное лицо, задумчиво, как Гамлет, решал, откуда начать... И с благожелательным сожалением следил за тем, как Катя делит, отрезает, выносит чужим людям его кур, его яблоки, его пироги, его сушеную воблу, его грильяж в шоколаде, его соленые помидоры, его маринованные помидоры, его помидоры в собственном соку. Возлежал, высоко приподнятый на подушках, с капельницей над головой, с зеленым судном под тощими ягодицами. И каждые полчаса Катя вытаскивала из-под него это судно, выносила в туалет и сливала. Струйка воды в унитазе заворачивала космическими спиралями черничный кисель с ягодами, виноград, маринованные грибы, оранжевые икринки... Катя тщательно мыла судно хлоркой и возвращалась в палату. Этим и были заняты ее дни.

Когда Ленечка спал, она составляла письмо, которое собиралась направить в Министерство внутренних дел, в Министерство здравоохранения и в Красный Крест. Катя требовала создать службу, куда должны поступать данные обо всех доставленных в необычном порядке душевнобольных. Иногда она выходила на крыльцо подышать осенним воздухом. Смотрела, как идут по дорожке люди с пакетами и мешочками, несут, несут... Так в старом детском фильме лилипуты несли еду Гулливеру. Почти ни с кем из этих людей Катя не была знакома и не здоровалась, хотя знала, что идут они к Ленечке, который, несмотря на капельницу, съезживается и желтеет... и давно уже ничего не ест...

А потом город отнес его на старое кладбище, вырастающее над собственным забором, издали похожее на пеструю свалку камней, венков и крестов. Положили Ленечку между отцом и матерью, вернули им их бедное дитя под гранитную плиту, криво устремленную в небо, как указующий палец бедного моего дяди...

А папиною пальто снова превратилось в сукно, под закатным солнцем раскинулось от горизонта до горизонта, и скоро на нем взойдет озимь.

1995-1996

Олег Дозморов

* * *

Я вышел на балкон
гостиницы «Морская»,
и видимость такая
с меня согнала сон.

Шел теплоход «Максим»
с фамилией несладкой,
из трубы украдкой
выходил дым.

Из прибалтийских стран
тяжелого «Максима»
тащили два буксира —
«Меркурий» и «Уран».

Он сам не мог пристать?
Пошаливало сердце?
Чайки белым перцем
усыпали гладь.

Флажки и вымпела
на ветру трепещут,
поют песню:
ла-ла-ла.

Уходят пароходы
за пальмы и пески,
арктические воды
ломают им виски.

Там смерч и ураган,
и дома остаются
похожие на бутсы
«Меркурий» и «Уран».

* * *

Чистые, светлые, детские
первые джинсы советские —
крепкие, плохо рвались,
не протирались в коленках.
Эти — уже разошлись.
Но разберемся в оценках.

Эти, конечно, нужней,
те, безусловно, любимей,
следовательно, важней,
целесообразней, носимей.

Не полагайся на нас,
Турция, берег турецкий.
Я развиваюсь, как класс,
но остаюсь — советский.

* * *

Июль. На дачу к другу моему
приехали ребята с пивом —
Рустам, Андрей, не помню, почему.
Сидим красиво.

Не спирт-сырец, а «Гессер» дорогой.
...Я пил с поэтами, шпаной, врачами —
и в совокупности, и вразной —
с пивком вначале.

...Гармонии однообразный лязг
закладывал немилосердно уши,
потом привычно вырубало мозг,
но выводило за руку на сушу.

Немногое, увы, сдано в музей —
паноптикум во время оно.
Я позабыл приятелей-друзей.
Отшибло память Ариону.

...До чертиков, до синевы в глазах
шептало музыкальские глаголы...
Но если их забудут в небесах —
это мои проколы.

* * *

Он уехал прочь
на ночной электричке...

Из песни

Он уехал в ночной электричке,
был таков, негодяй. На роду
мне написано дуть по привычке
в городского романа дуду.

Кто таков, почему он уехал,
я не знаю, так в песне, прости.
Я-то выдумал это для смеха,
а мерзавцу не будет пути.

Не любя его. Ночью тревожной
выпей чаю и выключи свет...
Что? В окне? Ах, какой осторожный:
ни прозванья, ни имени нет.

* * *

Полуархангелы и бесы
заводят шум часов с шести.
Там проезжают мерседесы
на гибельном своем пути.

Рычат стосильные моторы,
сгорает голубой бензин,
летят в прозрачные просторы
владельцы импортных машин.

Прислушиваюсь осторожно,
во сне улавливаю нить,
но зыбким слухом невозможно
источник звука проследить.

Поют колеса на асфальте
какофоническим Вивальди,
заламывающим смычок,
всесильный вертится волчок...

Другие видятся машины,
иные, чудные, тела
летят в ночи, обуглив спины,
подъяв звериные крыла!..

Я, жизнь изведав неживую,
вверяюсь радиолучу

и — в музыку передвижную
в изнеможении лечу.

Я вижу сон, где мы, носимы
минутной тенью Тех щедрот, —
архангелы и серафимы
с какофонических высот!

* * *

За пгторой, за пгторой, за пгторой
шум рации, говор валов.
Там музыка, слаще которой
реальный обвал катастроф.

«Титаник» игрушечный тонет.
Крик, музыка, пение, гам.
Там у телевизора стонет
довольный от этого хам.

В заваленной темной прихожей
он гостя встречает один.
Но слышно, как тихо под кожей
глухое рычанье турбин.

Тяжелый подбит истребитель,
пробит навсегда фюзеляж,
и кепочки кожзаменитель
уже откровенный мираж.

Душа уготована муке,
он к праху и пеплу готов.
Сложи кардинальские руки,
уставший от тайных трудов!

...Я гибну в мучительном шуме
убитых миров и светил;
он ставит другую кассету
и небо пускает в распыл!

Виктор Пивоваров

ИЗ КНИГИ «НАТЮРМОРТЫ (1987—1993)»

ОТКРЫТОЕ ОКНО В САД

Недорогое колючко с бирюзой, обгрызенные ногти, пухленькие подушечки пальцев.

Лиза заводит маленьким ключиком игрушку, и под нежную серебристую музыку крошечное кресло-качалка начинает качаться вперед-назад, вперед-назад, и два котенка в кресле, один рыженький, другой серый с клубочком ниток в лапках, тоже качаются вперед-назад, вперед-назад. А под креслицем две мышки, одна вылезает из шерстяного носка, другая с бантиком розовым на шее. Тинь-тинь, тинь-тинь.

— Лиза, милая, зач-ч-ч-ем ты мне показываешь эту милую, эту т-т-трогательную игрушку? Я и т-т-так готов расплакаться, — заикается Володя, прижимаясь небритой щекой к Лизиной руке, в которой она держит игрушку:

Лиза смеется нежным грудным смехом и ничего не отвечает. Между тем, стол под белоснежной хрустящей от крахмала скатертью уже почти готов.

Принесли грибы запеченные в горшочке, горячую картошку, винегрет и селедку. Запотевшая водка и красное грузинское вино уже на столе. Звенят приборы и рюмки. Овсей Овсеевич в своей старенькой душегрейке уже веселый, видно где-то на кухне пропустил пару рюмок, потянулся вилкой к огурчиком. От неловкого его движения одна из рюмок с нежным звоном падает на пол, но не разбивается. Он поднимает ее, «хе-хе, целая», наливает в нее вино и, наклонившись к соседу, сверкая огромными влажными глазами, шепчет ему на ухо:

— Знаешь, я подумал сейчас — в какого бога я верую, и я открою тебе один секрет. Я не верю в Бога, я верю в Богиню Поззии. У меня нет сына — она заменяет мне сына, у меня нет жены — она заменяет мне жену. Ну, а на большее меня не хватает.

Сосед Овсея Овсеича с пониманием кивает. Вообще-то он иностранец и по-русски не понимает. Он немного странный, с каким-то неправильной формы черепом, а правое ухо, в которое шепчет Овсей Овсеич, у него стеклянное. Видно, однако, что ему тут в маленькой комнатке с этими разношерстными людьми хорошо.

Кто-то из гостей нетерпеливо восклицает, что пора выпить. Все оживленно суетятся, сложно рассаживаясь за столом. Стулья все разные, есть и две табуретки, а кое-кто садится и на диван.

— Ничего, в тесноте, да не в обиде, — басит обширный телом Михайленко-Маленко. Один глаз его косит вправо, куда он протягивает миску с винегретом, а другой влево, на милovidную Лизу.

Постепенно вино, горячая еда и смешные разговоры расслабляют. Всегда порывистый Володя садится на пол и кладет голову Лизе на колени. Овсей Овсеич напевает себе что-то под нос. Иногда он как бы встряхивается и, наклонясь к своему соседу, говорит:

— Слушай, что я тебе скажу, в каждой пуговке спрятана сказка.

Окно в теплый сад открыто постоянно. Белые тюлевые занавески слегка колышатся. Голубые деревья отбрасывают тени на подоконник. На тенистой полочке в углу стоят маленькие безделушки — фарфоровая собачка с длинными ушами, слоник и коричневая уточка. Принесли чай с вареньем. Наташа, притомившись, ложится на диван. Темная прядь волос пересекает ее почти детское лицо.

— Бам! — упал на пол один ботинок.

— Бам! — другой.

Овсей Овсеич свернувшись калачиком лежит рядом с Наташей, прижавшись спиной к ее теплому размягченному дремотой телу. Неожиданно он воздевает палец, и сквозь сон бормочет:

— На той стороне зари, там где свечи наплакали целый город...

Иностранец пьет чай по-русски, отхлебывая с блюдечка. Ира и Анна Владимировна о чем-то оживленно спорят в углу, разглядывая какие-то серые тетрадки.

Кто-то включил музыку.

Володя подходит к окну:

— Лиза, с-с-смотри, — говорит он. — Как с-с-странно, деревья в полном цвету, т-т-ты видишь, а ветки все усыпаны плодами.

— Да, — сказала Лиза, я вижу.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИ (разговор на кухонном столе)

Тряпка: Жаль тарелку. Хорошая тарелка была.

Кастрюля: Жалко. Безобидное существо.

Тряпка: И красивая была. С ободочком золотым и цветком посредине.

Чайник: Красивая, некрасивая! Не в красоте дело. Была, может быть, самая обыкновенная, но ведь была.

Кастрюля: А теперь ее нет.

Чайник: Да, осколки одни остались, да и те выбросили в помятое ведро.

Тряпка: Говорите, нет ее. Кто знает. Ничего мы не знаем. Может быть, ее нет здесь с нами, но она есть где-то в высшем смысле.

Чайник: Чепуха все это. Сказки для самоуслаждения. Нет ее больше, и жалко ее. И нас жалко, потому что и нас не будет.

Кастрюля: Только вчера, как сейчас помню, она стояла тут, а теперь даже следа от нее не осталось.

Чайник: Это хорошо, что не осталось следа. Чистое и пустое место должно остаться после нас.

Голос за дверью: Я ведь говорила тебе, шапку в рукава засовывай.

Тряпка: Я помню, она тут стояла, а из окна падал на нее свет. Мягкий серебристый свет. А теперь нет ее, а свет остался, и ему как бы чего-то не хватает. Ведь еще вчера он обнимал ее, его лучи еще помнят все изгибы ее форм.

Чайник: Память, память! Все забудется.

Кастрюля: Что же это значит, что наше существование бессмысленно?

Чайник: Увы, это так. Не надо строить иллюзии. Надо смотреть на вещи так, как они есть.

Тряпка: Нет, нет, это не правда! Во всем душа, во всем есть смысл. И в смерти, и в несуществовании.

Чайник: Осколки белые, холодные, пустые.

Голос за дверью: Ну, ты посмотри, галоши внутри совершенно мокрые.

* * *

Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое. Но однажды, когда я был в гостях у своих двоюродных братьев, один из них, Юра, поманил меня к себе, с загадочным видом подвел меня к шкафу и резким движением, для усиления эффекта, распахнул дверцу. На внутренней стороне дверцы кнопками был приколот кусок картона, на котором масляными красками был нарисован натюрморт: зеленая настольная лампа и две книжки на столе.

Я долго не мог поверить, что это нарисовал Юра. Я бывал конечно в музее и видел картины в рамках. Но это был какой-то высший, недоступный мир. Эти картины, мне казалось, были созданы какими-то особыми существами. Их портреты и репродукции их картин я вырезал из «Огонька» вместе с портретами Сталина, Ломоносова или Бетховена. А тут вдруг, мой брат, смешливый и несерьезный, и даже младший на год, как-то исхитрился и совершил подобное же чудо.

ПЕРВЫЙ УРОК

Сентябрь 1951 года.

Первый день в Художественной школе.

Учителя: Простов, Хитров и Репкин.

По всем законам классического водевиля имена, как потом выяснилось, полностью отвечали характеру каждого персонажа.

Репкин дает нам первое задание. Прикрепить к мольберту осенний лист и написать его акварелью. Всматриваюсь в каждую жилку, в каждый оттенок. Лист кое-где еще зеленый, кое-где желто-оранжевый, как бы с каплями крови, а с краю совсем сухой, коричневатый, свернутый в трубочку, с обнажившимся сетчатым скелетиком. Еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю, только стараюсь пристально вглядываться и изобразить все, что вижу. Но сам лист языком молчания уже дает мне первый урок:

- О умирании,
- О преходящем,
- О неповторимости любой вещи,
- О жалости и жалкости,
- О связи всего со всем.

Вот я, со своей жизнью и историей, сижу и рисую лист, который рос на дереве, у которого тоже своя жизнь и своя история, и в окно льется свет и освещает и меня, и этот лист, и с моей помощью этот лист становится запечатленным на листе бумаги, который тоже когда-то был деревом.

Сорок лет прошло со дня этой беседы с листом.
Благодарный, думаю о нем.

* * *

Павел Петрович Чистяков считался в свое время лучшим художественным педагогом. Был, однако, суров.

Однажды, рассказывают, привели к нему Серова, еще мальчиком. Чистяков, чтобы испытать его, взял лист бумаги, скомкал его в комок и бросил на стол: «Рисуй!»

Чистяков учил, что предмет это сложная система пересекающихся плоскостей. Скомканный лист бумаги был для него идеальной чистой моделью абстрактного предмета, не имеющего никаких других признаков, кроме плоскостей.

Часто в своих натюрмортах пишу мятую бумагу. Каждая плоскость повернута к свету иначе, и возникает необычайно изощренная полифония полутонов, рефлексов, просветов, вспышек, теней.

Это — как богатая оттенками душевная жизнь.

Или облака.

· ВТОРОЙ РАЗГОВОР НА КУХНЕ

Митрохин: Я больной человек. На улицу не выхожу. Рисую, что есть под руками. Пузырьки от лекарств. Жена иногда принесет с рынка овощи или цветы.

Сезанн: Меня сами вещи не интересуют. Чтобы создать картину, нужно о вещах забыть. Глубина, масса, вес, пространство, края, равновесие и его нарушение — вот что создает картину, а не яблоки и кувшины.

Ван-Гог: Нет, нет! Каждый предмет необходимо пожить, нужно полюбить его, увидеть, почувствовать его душу! Натюрморт — это портрет вещи.

Митрохин: Вчера я рассматривал альбом китайских акварелей. Двадцать лет рисовать только персики, и ты приблизишься к сущности предмета.

Моранги: Мне близка эта мысль. Натюрморт располагает к созерцанию. Я стараюсь ставить предметы, которые не меняются. Цветы или фрукты вянут. Бутылки и миски терпеливы и неизменны. Мерцание и жизнь света на них хорошо видны. Если мне удастся достичь внутренней тишины, я становлюсь таким же, как те предметы, которые я рисую.

Сезанн: Натюрморт слишком облегчает задачу. Это как стрельба в тире по неподвижной мишени. А вы попробуйте подстрелить летящую утку. Живое, подвижное человеческое тело в живой, постоянно меняющейся природе. Схватить это в движении, зыбкости, мерцании и одновременно сохранить неподвижную статуарность, иначе говоря, соблюсти законы картины — вот задача!

Ван-Гог: Иногда я не могу удержаться от слез. От слез восторга. Боже мой, — говорю я себе, — и это все я могу видеть!

Моранги: Предельная сосредоточенность нуждается в некотором холодке, в «высшей незаинтересованности».

Митрохин: Вчера жена оставила кофту на стуле.

Осенний свет из окна.

Хорошо!

Набросал в блокнот.

Андрей Стебелев

* * *

Нерастворимый кофе —
Как поцелуйчик в бровь,
Предчувствие Голгофы,
И виды на любовь,

Междусобойчик бойкий,
И шлепанье домой —
Как будто бы с попойки
Предстану пред женой.

Дорогою неблизкой
Печальны и тихи,
Как + на обелиске,
Проявятся стихи.

Написанные ночью...
Под дверью без ключа...
Разорванные в клочья
До первого луча.

Март 1998

* * *

И торжественных траурниц сизый испод,
И алмазную грубость зерна,
И весною напоенный девичий рот,
И обман молодого вина

Я запомнил. И кем бы теперь мне не быть,
Где бы не быть и сколько бы лет мне не жить —
Не забыть почерк речки за лесом
И дождя дымовую завесу.

Май 1998, Львов

* * *

Как все уныло — и легка часам
Лететь бездумно, предрекая зиму.
Проводит гребнем жизнь по волосам,
Вычесывая чувства, мысли, силы.

И мы умрем, когда настанет срок,
Но никому теплей, отнюдь не станет,
Лишь подтвердим проверенный урок —
Что даже имя камнем в Лету канет.

Июнь 1998, Frankfurt am Main

ЗАВЕЩАНИЕ

Все позади. Несказанное слово
Еще томит меня. Забвенье, забытье
Теперь со мной навеки. Как-то ново
Такое состояние мое.

Невышедших стихов не прочитают,
Исписанных страниц не сберегут.
Их за зиму, безмолвных, растерзают
И в печке дачной заживо сожгут.

Кому какое дело. Пусть ни света,
Ни полусвета... И пускай травой
Могила порастет...

Другим поэтом
Пусть скажется несказанное мной.

Июнь 1998, Frankfurt am Main

ОТ ФЕОГНИДА

Кирн уснул. Уснул навеки Делий.
Ухнули, как в черную дыру.
На луку за Летой асфоделей
Белых я охапку наберу.

И раздам прообразам мальчишек
Милых лет, которых не вернуть.
Пух подмышек, прямизна лодышек,
Глаз молящих голубая муть.

4 июля 1998, Zvolen

Лидия Юсупова

ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

(начало романа)

Кто же он — объект моей первой влюбленности, посетившей меня в этом непростом подростковом возрасте, когда мир чувств открывается вдруг непорочному сердцу, распахивается как водопроводный люк во тьме туннеля, в бесконечности неведомого кипит любовь — всех, кто любил, или это змей разверзает пасть, бездну?

...Объект. Нет, разрешите еще похранить мою тайну. Чувствую, рано называть имя.

...И вот она подошла. Подошла, бледная, худенькая моя учительница, и говорит: «Хау ду ю ду?» Волосок к волоску, на затылке маленький клубок.

В нашем городе желтые фонари.

Мы гуляем по вечернему городу, ведя душевную беседу на золотом поводке: «Я расскажу тебе о жизни моего сердца».

.....

ВТОРОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Возможно, Север влияет своим сиянием на цвет наших глаз, но, поверьте, слезы их достигают берегов Лесбоса еще теплыми, вкус слез как у крови, — морем.

Тайная любовь в ледяном гробу — тысячелетиями, ее лик сквозь лед — мед.

Я, когда горячая учительница, душа моя, жизнь моя, когда она научила меня всему, я тогда... Письма мои коротки, госпожа сахарная, т.к. пальцы стынут, острые белые ногти покрываются инеем, жесткие цветы расцветают в лунках...

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Я тогда, в удушающе безымянном пределе, и услышала Вас, потому что Ваша любовь там. И снова море поднимает волну и

бросает к берегу Лесбоса. Учительница указкой ласкает, нежная моя, крошит мне на живот мел, мелом я белю ее тело, иссушенное страстью, кожа дряблая, изюмная, я ее жемчужу.

Слова, их надо выпеть. Жизнь вытесняется любовью — чем больше любви, тем легче смерть.

Не люблю целовать ее в губы, у нее клейкая слюна. Уголок этого конверта она оближет и, заметили, будто сросся.

Люблю целовать ее в губы, вылизывать.

Она чуть вздрагивает, когда стержень авторучки проваливается сквозь бумагу, ее живот в синих точках.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Ничего не остается как закрыть глаза: падение сквозь тьмущего мужчину, а одноклассник, герой, дебил, ослепительной красоты Ежкин... Отличницы ошибаются один раз. В Парке Культуры, на размягшей от осенних дождей скамеечке в круглой, с издырявленной ветрами крышей, беседке воскресным пятнадцатым вечером своего рождения, напившись советского сладкого шампанского. И раскрыв губы для поцелуя белокурого двоечника.

В ожидании робких ласк. Пустынно вокруг и тихо, и темно, все фонари разбиты, а он вдруг, я не поняла зачем, тек больно, я не понимала, чем он, что потекло?

В Ваши раскрытые губы — кровь, будто во сне, видение, тогда впервые произнесла Ваше имя, легкое, на выдохе, а Вы услышали меня в шуме волн.

ПЯТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Она не верит в измену тела, соскребает ногтями тьму со стекла влагалища, чтобы не проглядеть моего приближения.

Насос поднимает сокровища со дна сна. Черные невидимые узоры на ее стекле, сады инея скулят под ее ногтями.

Когда музыка втыкается в ее уозсть, сквозь мужскую улыбку слышен этот скулеж, как сладко называть это временем. Время — любовь, дарит все и навсегда отбирает, но, лишившись его, только тогда, узнаю свободу. Тебя! Ты, раскинув руки, по грудь в воде, вечно влекущая! Вечно влекущая!

ШЕСТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Медленно ели рыбу. Рыбий запах интимен, у меня от него кружится голова. Сквозь укачанную стихию так наверное пахнут

разгоряченные в кипящих страстях русалки, свивая хвосты, зеленые волосы, Вы слышали? Учительница отщипывает кусочек и тянет в рот, и ее губы блестят, перламутровые, от жира, мясо русалки сама нежность, как взгляд первой учительницы, учительница облизывает свои пальцы, и тонко улыбается — отвечая на мой взгляд.

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Куда плетется овечка понуро по пустыне, одинокое мягкое животное, не касаясь копытцами сыпучих песков?

И вот. Струится, высясь, в горячем воздухе влаготочивый мираж — имя ему Ежкин, фаллос вожденный и проклятый. Мерзость. Что есть уродливей кожного отростка, бесстыжей змеи, шланга мочепускающего. Яйцегорбого верблюда, выплывающего слизь. Имя верблюду Ежкин.

По ступенькам беседки, по страшным дорожкам Парка Культуры я убегаю и слышу его крик — в вязкой мгле нитями вытягивающийся, липнущий к накаленному сердцу: «Иди на хуй!» — пьяный крик — «Блядь!» — мне, только мне, во всем мраке мира, только для меня, этот крик: «Иди на хуй, блядь!»; и сквозь кустарник, спотыкаясь о невидимое... Где я? Куда? Мне непонятно. Сладчайший смертный запах листвы, прикладываю лист к уху: шелест крон! подобный шуму, к Вам льнущему, о госпожа волн моря, мечта!

ВОСЬМОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

А далее в рвущемся мягко от дыхания сердце расплзлось тонконачертанное.

Развернувшись, улыбнувшись, о сияющий подоконник пятерней: — Гуд бай, чилдрен!

Звон.

Сильными пальцами (когда я выходила последняя) поймала за подол, рванула к себе и обняла меня, прижала, и затряслась, как молния. И вся Вы осветились ярчайше, близко — как удар, свет отраженный пронизал меня, облучил любовью к учительнице.

Дома, сняв платье, целовала меловые блики мерцающие ее ласк.

ДЕВЯТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Пишу тебе в тишине да в глубине всей секретной моей любви, во мгле сомнений: (о, ты! незаметно вдруг изменилось место-

имение... с моим взрослением сокращается расстояние между нами, все, живые в вечности, всё ближе и ближе, и смерть окружается их сладкими голосами — в моем будущем, что для них — для тебя — настоящее; счастье какое: существовать в неускользящем настоящем, не бежать вдогонку жизни, не предаваться временем, а только с плавкими голосами плавиться в медоточивой вечности свободы!) вянет, вянет любовь моя к учительнице, и будто и не любовь уже это, а с облетевшими лепестками жухлый стебелек. И сама она, облетевшая, жухлая вдруг проявилась из слепоты страсти, в ярком свете прозрения обозначились грубо ее резкие черты старости. Страсть и жизнь иссушили ее, и в предательском времени в дальней дали рождается новый запах, ядовитый, как хлорофос, смерти любви.

ДЕСЯТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Руки простирает собака черная масть, в голубоватом отзвуке полостей пустот — слезы, мои о Вас. О женщина моя, телом сверкающая в буйстве вод!

Представьте мой сон.

Пусть поймете: это всё сон.

Лист срывается с комнатного растения и, очертя круг над головою моею, ложится на лист, расчерченный жилками слов.

Мир, в котором не боюсь умереть. Я хочу взойти по узкой, чернеющей ввысь лестнице — и, расцветенная неоновым праздником реклам, на крыше башни стоять и смелеть, и смелеть.

Хочу эти нежные смутлые горячие Ваши груди — ощупывать ослепленно, и всю Вас. Целовать целовать, лизать это живое трепетное сочащееся пульсирующее лоно! Вагина — слово сводит с ума: античной таинственностью звучанья. Тело вздрагивает, мечется, лицо: гримаса испуга, губы яркие, мокрые, крики и стон.

Госпожа, позвоните мне, и если не окажусь дома, оставьте на автоответчике Ваш оргазм. Рано или поздно — соединимся.

Ах! Вот и он, звонок — пробуждающий...

ОДИННАДЦАТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЭТЕССЕ САПФО

Луна розовая прозрачная; тончайшими пальчиками по вздрагивающему животу медленно плывешь — от плачущих губ выше и выше. Закат. И берег Лидии, на горизонте — исчезающий: и ты исчезающая; и в миг, когда коснешься ее, стемнеет — и в сердце моем; а луна засияет недосыгаемая — свет ее, затмевающий звезды: так и ты затмишь всех женщин лидийских! И в миллионы цветов окрашивается жестокое море, разлучившее нас! Россыпи лилий и роз, лилий и роз, и лотосов...

Так ты рыдала по Аттис!

Госпожа, по маршруту «Лидия—Лесбос» лечу на самолетике низко, над самой водою, над легкой тенью своею — к тебе: берег цветущий ближе и ближе и нежные деревца оливковые переливчатые — так перламутр влаги меж грудей твоих оливковых переливчат на рассвете.

Когда ноги наши и руки сплетены, и волосы наши сплетены, и губы касаются счастливые.

P.S. Не встречай, я найду тебя

Олег Клишин

* * *

Слетели брови мельника с лица...
Метафора, опередив сознание,
живет, трепещет. С крылышек пыльца
струится. Со словесным приключеньем
жизнь бабочки сравнима. Высший чин
морского офицера и лампасы
превращены латынью в кринолин,
в шелка, в мигающий полет «Ванессы».

Из глубины мучительный инстинкт
торопит жадно челюсть плодоярки:
«Врезайся, рви — иного нет пути
кромсая прохладу листьев в поддень жаркий».
Чтоб ощутить, что вечность истекла,
как сон глухой в хитиновой гробнице,
и как четыре радужных крыла
подъемной силой наливаются под солнцем.

* * *

...когда в доме есть дети...

Анненский

Слезами исходящая свеча
блестящей патиной затягивала окна —
по мере угасания луча —
все непроглядней. Фитиля волокна
свивались в стебель стройного цветка.
Тепла наплывы. В полынье из воска
лепечущее пламя, лепестка
единственного светлая полоска —
чувствительный сейсмограф. Выдох, вдох.
Яснее шорохи и шёпот чей-то. Дети
друг к дружке ближе жмутся. Видит Бог
блужданье душ в колеблющемся свете.

* * *

Домашний сфинкс с кошачьей головой,
поверить ли, что нет в тебе загадки?
От кончика хвоста до мозговой
извилины, от бархатистой лапки
до влажной зелени болотистого мха,
надрезанной лучом по вертикали,
от вызревающего в глубине стиха,
окутанного тишиной... — едва ли
продумать все возможно. Лишь канва
инстинкта безошибочна в азарте
весеннем. Как бледнеют все слова
на фоне серенад гортанных в марте!

* * *

На птичьих костяных ноздрях
остался влажный след дыханья,
когда закончился обряд
средневековый. ...Трепыханье
незрячих крыльев, рвущих мрак,
расшатанный обрубок красным.
Последний судорожный шаг,
опору ищущий напрасно.

В шелк синий неба вшит узор
из веток яблони. Край крыши,
резьба оконная, забор,
пучок травы в кирпичной нише
Фасада... — вниз наискосок
закатывался день под веко.
Тускнел зрачок и в нем сапог...

Почти такой иного века
из свежеструганной доски
вознесся в виде обелиска.
Лоб, обмелевшие виски...
белеют. Белое так близко
от черного. Почти поту-
сторонне: ротозеи в шляпах,
и мир, летящий в пустоту,
и дерева смолистый запах.

* * *

Все мысль да мысль!

Баратынский

Уцепившись за мысль, далеко не уедешь. Засушен
стих, как в пыльном гербарии в тонких прожилках листок.
«Чистый разум» на полку верни, расправляй свою душу
новым чувством, дождями, идущими наискосок.

Как нежны маслянистые складки раскрывшихся почек!
Шелухой тополиной с прогулки подклеен каблук.
Жизни вяжущий вкус, не касаясь приземистых строчек,
заполняет пространство — как слово, как голос, как звук.

Ни тяжелых томов, ни унылого бдения. Овод
в полумрак залетел, теснотой раздражен, басовит.
Капель зреющих ряд, даже плесень в углу — только повод
для того, чтобы пристально, вслух перебрать алфавит.

Данила Давыдов

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В КЛЕТКЕ

Навстречу мне — хороший, дружелюбный —
из подворотни смотрит человек.

Владимир Эрль

На тридцать шестой день пути мы вошли в город, не обозначенный на карте. Жители не обращали на наше шествие никакого внимания. Мы миновали торговые ряды, пересекли шумную площадь и решительно свернули на кривую улочку, так подсказывало чутье лучшим из нас. Надо бы найти постоянный двор, сказал впередсмотрящий, мы согласились с ним и огляделись по сторонам. Собака, похожая на собственную тень пробегала мимо, двое мальчишек выкапывали из земли гадость. Не было никого, кто мог бы подсказать путь к постоянному двору. Потом мы все одновременно поняли, что не знаем местного диалекта. Толмач умер от какой-то болезни два дня назад, и в тот же день неизвестно куда скрылся проводник; эти два дня нас вела лишь интуиция. Вот и теперь мы решили слепо подчиниться ей, нашей невидимой водительнице. Улица заканчивалась тупиком, дальше, сквозь стену невероятно разросшегося терновника, просматривались очертания бесконечных серых построек без окон. Рядом с терновой оградой виднелись широко распахнутые ворота, сбоку висела табличка с надписью, для нас непонятной. Не имея выбора, мы вошли в ворота. За ними был чахлый сливовый сад и ветхий дом, дверь его была открыта, всё говорило о том, что именно здесь утомленного странника ожидает сладкое гостеприимство. Что ж, мы вошли и в дом, нас было девять человек, похожих друг на друга — не скажу, как капли воды — но как муравей похож на муравья, ибо столь малое различие невиднo глазу людскому. Воистину, это оказался приют для путешественников. Сквозь полутьму проступали столы и сидения, чуть дальше — котел с приятным утомленным чувством варевом и хозяин, тщательно помешивающий стоящую на огне смесь. Спустя минуту стало понятно, что то был не хозяин, а слуга или же раб, ибо хозяин, притаившийся за нашей спиной, высочил на недостаточный свет — дабы понять, кто же заявился в его заведение. Двое из нас попытались объяснить ему знаками — кто мы и зачем пришли к нему. Он закивал, довольно быстро разобравшись в ситуации, с некоторым удивлением посмотрел на путешественников, прибывших из неблизких мест, указал на самый большой стол, приглашая таким образом садиться. Мы, желая

прояснить всё до конца, продемонстрировали хозяйину свою платежеспособность, он энергично замахал руками, будто отнекиваясь, мол, и так верит нам, приказал неизвестно откуда взявшейся служанке накрыть на стол. После сухих фруктов и теплой воды ужин потряс наши расслабленные тела, мы опьянели от еды и нас потянуло в сон. Хозяин провел нас в просторную комнату, пол и стены в ней были покрыты толстыми коврами. Мы, не раздеваясь, легли на ковры и некоторые из нас заснули мгновенно. Хозяин задул свечу и закрыл дверь.

Я тоже заснул. Но шорох пробегающей под ухом мыши разбудил меня посреди ночи. Было очень тихо. Мне показалось, что это не постоялый двор, а степь, мы ночевали в ней целый месяц и забыли запах человеческого жилья. Цель нашего путешествия отошла на второй план, хотя и не была забыта, просто уже неделя пути через степь настолько отдалила нас от всяких целей, что важным казался лишь переход. Это была странная степь — почти лишенная растительного покрова, но казавшаяся живой и дышащей, и чувство постоянного присутствия другого существа, непонятного и чужого, осталось как самое неприятное воспоминание за весь переход.

Оглянувшись, я понял, что все, кроме меня, спят мертвым сном. Старейший из нас посапывал, а самый младший постанывал, ему снилось нечто неприятное, иногда он неразборчиво говорил одну-другую фразу сквозь сон. Под самым потолком было маленькое окошко, но луна, видимо, находилась сейчас с другой стороны, потому что только несколько слабых звезд представляли источниками света. Тем не менее, от окошка шло столь характерное для поздней ночи мерцание, и оно самым неожиданным образом преображало лица моих спутников. Мне казалось, я могу читать их мысли, но что это были за мысли. Я отвернулся к стене и попытался заснуть вновь, но сон не шел. Голова была забита дурацкими песенками, детскими стишками и считалками, отрывками заученных давным-давно молитв, нравоучительными историями без начала и конца. Всё это всплывало в произвольной последовательности из самых глубин моей памяти. Мерцание превратилось в яркий свет, хотя я понимал, что это лишь игра моего восприятия, результат усталости, не более. Мышь пробежала мимо еще раз, может быть, это была и не мышь, а какой-нибудь иной, местный зверь, также обитающий под крышами человеческих обиталищ и ворующий остатки жизни, судьбы и счастья, чтобы припрятать их в своей глубокой норе. Мои конечности похолодели, мной овладела апатия, и тут я окончательно проснулся.

Я не мог двигаться. Все члены мои одеревенели. Слух обострился необыкновенным образом.

За дверью послышались осторожные шаги двух людей, судя по всему, мужчины и женщины. Женщина шла первой. Она приотворила дверь и тут же закрыла ее, но мне хватило и мига, чтобы узнать служанку нашего хозяина. Мужчина, наверное, слуга, подумал я, и тут же мужской голос прошептал несколько

слов, я узнал хозяйский голос. Я четко понимал о чем они говорят, хозяин спросил: спят ли они. Да, ответила служанка, их не просто теперь будет разбудить. Вот хорошо, обрадовался хозяин. Я ломал голову, как у меня получается их понимать. Хозяин со служанкой удалились, вновь стало тихо, но новое чувство доносило до меня ржание лошадей и треск горящих поленьев на другом конце города. Много мужчин, чувствовал я, движутся сюда с недобрыми целями.

В воздухе царствовал пряный запах. Мои спутники, казалось, превратились в собственные портреты, вытканые на коврах, я задумался, разрешено ли в этой земле изображать людей.

Внезапно я услышал скрип во дворе, будто что-то делали с воротами, странно — скорее закрывали, чем открывали, но кто станет закрывать ворота среди ночи. Тут я вспомнил, что ворота всё время были открыты. Послышался стук копыт, приглушенные крики, вот приблизился кто-то к постоялому двору, крики обрели четкость и суровую чистоту звучания. Сразу же в доме началась суэта, разнеслись визги, и топот ног, и захлопали двери, миг — уже и выстрелы раздались под самым носом, уже и мольба о помощи, неизвестно к кому обращенная — за стенкой, что близ меня. С крыши упал тяжелый предмет и громко ударился о землю.

Шум нарастал, он уже доносился из-за двери. Я вновь попытался встать, но не был способен пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже чуть приподнять голову. Дверь треснула и упала, выломанная чьим-то мощным ударом. В комнату ворвалась толпа людей с факелами, за ними семенил испуганный хозяин. Оставьте их, говорил он дрожащим голосом, и я понимал его слова, как понял ответ ворвавшихся, хотя те вообще ничего не говорили, просто — схватили одного из моих спутников и перерезали ему горло ножом. Я лежал, открыв глаза, ко мне бросились двое или трое, но тут же застыли в недоумении, да он помер, сказал юный абориген, указывая на меня пальцем, в это время остальные методично убивали моих спутников, и никто из них не пронулся перед смертью. Молчаливый воин пнул меня ногой, а другой — ткнул копьём в мой живот, я ощутил острую боль и на мгновение забыл о творящемся вокруг побоище. Хозяин закрыл меня рогожей. И я долго ничего не слышал, только неясный скрежет, подобный шелестению стрекозиных крыл, не давал мне потерять связь с миром.

Ночь закончилась, наверное. Где-то там утро.

Я ничего не вижу и не слышу. Я закрыт рогожей.

Пришел хозяин, приподнял рогожу, посмотрел на меня. Ничего не сказав, ушел.

Может быть, я ошибаюсь, но вроде как лежу здесь шестой день, и рана моя уже не кровоточит. Шевелиться не могу и муха сидит на большом пальце левой моей ноги.

Пришел хозяин с каким-то бородачом, который ощупал меня и намазал гноящуюся рану липким веществом с дурным запахом. Хозяин то и дело морщился, наблюдая эту процедуру. Потом бородач сказал ему: человек жив, но не способен двигаться, он слышит и видит нас, но не может ответить; так береги его, он — редкость из редкостей, учитель мой говорил, что не найти диковин подобных чаще чем раз в шестьдесят лет. Они говорили на местном диалекте, которого я не знаю, но почему-то понимаю всё дословно. Уходя, они прогнали муху, спасибо им.

На двенадцатые, по моим расчетам, сутки, желудок впервые потребовал еды. Как дать знак хозяину?

Хозяин, по счастью, сам догадался: раз я жив, меня нужна пища. Служанка кормит меня, просовывая ложку с вязкой кашцей (не могу понять, что это) за язык. Глотательный рефлекс срабатывает, служанка улыбается, гладит меня по голове, как младенца.

Однажды он пришел и выразительно посмотрел на меня. Зачем вы пришли в наш город, сказал хозяин постоялого двора, мы не звали вас. О, можешь не отвечать, вскричал он тут же (будто я мог ответить), я знаю, у вас было дело, но суть этого дела слишком далека от нас. Мы никогда не поймем того, чего в принципе не в состоянии понять. Знай: не ум говорит за меня, но сердце, и он сложил руки на груди, начал раскачиваться из стороны в сторону, промышчал невоспроизводимый мотив, который будет существовать в моей памяти всегда.

Вошла служанка и прошептала хозяину на ухо несколько слов. Весна идет, слышалось мне, звери спущены с цепей... Я понимал общий смысл, но не мог найти точный эквивалент на родном мне языке; так, говоря о весне, служанка имела в виду не весну вовсе, а нечто радостное и всеобъемлющее, неминуемо грядущее — во имя благополучия горожан — и, тем не менее, вовсе не окончательное и требующее в дальнейшем замены на что-то еще более достойное внимания толпы; то же и зверь, судя по всему, представлявший и служанке, и хозяину даже не вполне существом, а, скорее, полумразумной и агрессивной субстанцией (при чем здесь множественное число — было совсем уже непонятно). Хозяин выслушал служанку с одобрением, кивнул в знак согласия (я научился различать их жесты, мимику, тайные знаки — не в полном объеме, разумеется, но в количестве, достаточном для поверхностного — и тем самым в большой степени иллюзорного — понимания); служанка мельком взглянула на меня и юркнула в полуоткрытую дверь.

Хозяин думал. По выражению его лица чувствовалось охватившее его мозг интеллектуальное напряжение. Он ходил по комнате (крови моих спутников не осталось на коврах, да и ковры те, собственно говоря, были унесены неизвестно куда и заменены новыми), взад-вперед, что-то беззвучно бормотал, будто читал молитву, и — кто его знает — может, действительно молил-

ся своему частному божеству о перемене участи, ибо таковы молитвы многих во многих землях. Час спустя хозяин прекратил неспешную суету и остановился передо мной. Знаешь ли ты, сказал он, свою судьбу? И усмехнулся, словно произнес нечто мудрое и остроумное одновременно.

Если бы я мог говорить, думал я в это время, я попросил бы у него принести сюда клепсидру, самую большую в городе, и поставить напротив моих глаз, пусть раб или служанка следили бы за неизменностью работы утекающей в прошлое воды. Хозяин рассказывал мне в это время местную сказку — про волка и кабана, про то, как они носились друг за другом по степи, так ни разу друг друга не увидев. За окном раздался скрип, наверное, телега проехала мимо.

Рассказать тебе, что с тобой случится дальше, неожиданно сказал хозяин, хочешь? Тебя повезут по селениям показывать, как удивительного уroda. Он опять усмехнулся.

Хозяин приводил ко мне разных людей и они разговаривали со мной, чаще ласково, реже недоуменно, еще реже грозно и почти никто — заинтересованно. Я, очевидно, представлялся им лишь фикцией, неудачным розыгрышем, на котором стыдно задерживать внимание. Быть может, чуть ли не все они приходили сюда лишь из уважения к хозяину постоянного двора. По большей части это были люди образованные, сведущие в медицине и поэзии, астрологии и земледелии; они всегда смотрели в сторону, когда произносили нечто похожее на соболезнование (как не пожалеть меня!), и расслабленные руки их случайными движениями не выдавали таинственных душевных переживаний.

Вскоре визиты прекратились. Хозяин почти перестал общаться со мной (воистину, общение с попугаем или котом было более продуктивным). Я лежал, вслушиваясь в отголоски творящегося за стенами; безусловно, ковры превосходно изолировали звук, но мои чувства обострились до необыкновенных пределов. В сущности, мне можно было отрезать уши, я всё равно ощущал бы малейшее дуновение ветра на улице или бег муравья внутри стены — поверхностью тела, соприкасающегося с иной, мертвой поверхностью (ковер прекрасно передавал малейшие колебания пола, в некоторой степени даже усиливая их). Служанка ежеутренне губы мои утирала пухом зверя неизвестного.

Потом случился пожар. К тому времени я разучился спать и никто не желал видеть меня.

Огонь в одночасье охватил постоянный двор со всех сторон; похоже, поджигателей было четверо или пятеро. Никто не пришел в комнату, украшенную коврами, и когда пожар добрался до этой комнаты, ковры вспыхнули и слева и справа меня, но до этого я увидел, как малейшую долю секунды ковры висят над огнем, целые и невредимые (и тут же они перестали быть таковыми) — так я узрел возможность не зависеть от тяготения, поэтому, когда пламя охватило мое тело, мне не пришлось умирать,

напротив, я плавно опустился на первый этаж, также обреченно сторающий, как и остальные признаки действительности, окружавшей меня (кроме меня самого), лишь чуть ударился о балку, но даже не почувствовал боли, ибо не остался в равновесии, побуждающем к самосознанию, а покатился, как всё та же балка, и так мы подражали друг другу, пока не вынесло нас из постоянного двора, и из сада, где сливы, по человеческому обычаю, отвернулись от меня (вот и хорошо, пришло в голову, они не узнают, кто победитель в наших с балкой соревнованиях), и тут деревянная спутница моя встретилась с заросшим прудом (огонь погиб, но сама балка навеки, следует думать, погрузилась в водоем неизвестной глубины), я же, сшибая дикорастущие цветочки (дикорастущие — потому что некому теперь следить за ними), вбирая в себя всей кожей конфигурацию камней — вылетел за ворота, как всегда широко распахнутые, — прямо под ноги горожанам, пришедшим познать чужое горе. И не знаю кто погасил пламя на теле моем и накрыл меня мокрой тряпкой, во спасение, полагаю.

В полной темноте очнулся я и ожоги явственно указывали на свое существование. Я не слышал ни звука, ни ползвуча, и то, на чем я лежал (не ковер — однозначно), не желало пропускать сквозь себя колебания окружающего пространства. Так я лежал долго, но не настолько, чтобы потерять понятие о времени. Затем появились шепоты, они пытались втолковать мне что-то на неизвестном языке (а может, я просто потерял умение понимать, не обучаясь). Пытаясь представить разговаривающих со мной, я терялся в догадках; конечно, черты их лиц должны были оказаться человеческими (при всякой иной мысли я покрывался холодным потом), но подробности, то, что отличает всякое от всякого, совершенно не поддавались выявлению. Личности хотелось мне, личности! — я тосковал по хозяину постоянного двора, одностороннее общение с которым терялось в воспоминаниях — ведь темнота была и в прошлом, и в будущем, а настоящее вообще отсутствовало. Периодически я засыпал, точнее — погружался в тяжелую дрему без сновидений.

Наконец, рассвело (я говорю так, потому что к тому времени окончательно уверил себя в конечности этой тьмы — ну, не может же тьма быть бесконечной — ибо иначе жить не представлялось возможным, а жить хотелось). Мое тело покоилось на траве; вокруг не было никаких примет человеческой деятельности; несколько чахлах деревьев в отдалении, тучки над горизонтом, трава, трава, трава. Я сказал себе: встань и иди, и встал, и пошел — прямо, пока не уткнулся во что-то твердое. Тогда я понял, что пейзаж был нарисован на стене, и я всё так же в плену неизвестно у кого. Приглядевшись к рисунку, я изумился тому искусству, с которым меня обманули. Живая трава, растущая на полу комнаты (если это была комната, а не что-либо, чему нет названия на привычном мне языке), на первый взгляд, ничем не отличалось от своей имитации, и найти ту грань, где

она заканчивалась и начиналась стена с помощью одного лишь зрения казалась невозможным. Вытянув руки, как слепец, я ощущал пространство вокруг себя. Судя по всему, я находился в не слишком обширном помещении. Свет, лившийся сверху, был слишком ярким, чтобы различить его источник; но, привыкнув к нему, я почувствовал его отличие от солнечного. Так я провел в этом месте довольно долгое время; иногда доносилось слабое дуновение ветра, впрочем, это могло мне только казаться. Потом свет начал тускнеть, плавно, словно действительно наступал вечер. По траве, той, что росла на полу помещения, прополз жучек, желто-зеленый, с черными крапинками; я был готов дать голову на отсечение, что это насекомое приползло откуда-то извне, иначе я бы заметил его много раньше. Будто издаваясь надо мной, по моей ноге прополз другой жучек, теперь — темно-синий, с отливом. Я поймал его, сжал в кулаке и минуты три вслушивался в судорожный гуд, издаваемый пленником. Вдруг всякая деятельность внутри кулака прекратилась, я разжал его и обнаружил жучка лежащим на спине, лапки кверху; я не стал раздумывать, было ли это уловкой, или насекомое и впрямь отдало концы и отбросил тело в сторону. Раздался еле слышный стук, жучек ударился о невидимую стену. Совершенно непонятно было, почему ничто здесь, кроме меня, не отбрасывало тени; я приписал это мастерству создавшего подобное помещение конструктора.

Неожиданно стены раздвинулись и передо мной появилась песчаная тропинка. Я осторожно ступил на нее, ожидая чего угодно, но ничего не случилось. Шаги мои звучали словно удары колокола. Вокруг тропинки клубился розовенький туман. Кажется, я шел довольно долго. Потом туман начал рассеиваться. Сквозь него проступали неотчетливые контуры деревьев — не деревьев — нет, всё-таки деревьев. Я испугался, что меня подстерегают уродливые многорукие великаны, но, поняв их растительную природу, успокоился. В какой-то момент я даже подумал, будто вернулся в сад рядом с постоянным двором. Это, конечно же, была вздорная мысль. В любом виданном мною саду уже давно появились бы какие-нибудь строения или хотя бы следы человеческой деятельности. Внезапно я понял, что не знаю, который сейчас час. С некоторым сомнением я решил считать это время суток ранним утром. Так можно было объяснить и необыкновенную тишину вокруг, и прохладу, и даже, пусть с некоторой натяжкой, туман. Когда же закончится эта тропинка! И тут я заметил точку вдалеке, и спустя минуту точка обрела объем и протяженность, оказавшись человеком. Он шел мне навстречу. Потом остановился, улыбнулся, поднял — в приветственном знаке — обе руки. Что-то сказал. Затем покачал головой, повторил. Я пожалел о даре понимания, исчезнувшем у меня так же неожиданно, как и появившемся. Человек протянул мне правую руку, и я протянул ему свою. Но, коснувшись моей руки, человек перекосялся от неимоверной боли, скорчился, упал на тропинку — и при этом он всё еще пытался улыбаться. Думая, как бы помочь незнакомцу, я взглянул на его правую руку. Она

оказалась страшным образом обожженной, почти до кости. Человек шумно выдохнул порцию воздуха и, судя по всему, умер.

Мне нечего было делать здесь. Чтобы идти дальше по тропинке, пришлось бы переступить через тело незнакомца, а мне почему-то не хотелось делать этого. Единственным решением, как мне показалось, было сойти с тропинки и идти неведомо куда. Но, подумал я, мне и так неясно куда я иду, разница лишь в степени неизвестности. Повсюду простирался уже почти прозрачный туман, под ногами чавкала грязь, деревья будто бы разбегались от меня, так что ни одно из них не находилось ко мне ближе чем в пятидесяти-шестидесяти шагах; и если я хотел приблизиться к дереву, оно оказывалось гораздо дальше, чем можно было предположить — хотелось думать, из-за тумана, создающего и не такие иллюзии.

Наконец, я уткнулся в стену. Пытаясь найти хоть какое-нибудь отверстие в ней, я прошел, казалось, столько же, сколько занимал весь мой путь до этого. Стена доказывала свою бесконечность, но я не верил ей. От усталости я еле держался на ногах, несколько раз спотыкался и не мог сказать — в какой миг подо мной разверзлась яма. Впрочем, это могло быть видение — из тех, что посещают обессиленных.

Я опять куда-то попал.

Глаза мои открылись сами по себе, когда мой разум еще не был способен к работе. Что-то существовало вокруг меня, но я не решился бы определить, что именно. Впрочем, никакой опасности нечто, окружающее меня, не представляло, оно не было живым, и те цвета, которые я уже мог различать, казались ласковыми. Пожалуй, цветочные пятна были несколько назойливыми, однако у меня не было никакого выбора — если подобное вообще хоть когда-либо случается.

Постепенно я начал осознавать, что лежу в обычной кровати, под одеялом. Вероятно, мне следовало бы подумать, что всё, случившееся со мной до этого, было сном, но я ни минуты так не думал. Я думал о том, где нахожусь. Стол, два стула, кровать, на которой я лежу — вся обстановка. По крайней мере, это не была комната в полном смысле слова, потому что на месте одной из стен была решетка. За ней простирался пейзаж, похожий на то, как рисуют неизвестные страны в книгах о путешествиях. Вроде бы, в городе, оказавшемся на пути нашего шествия, ничего подобного мы не видели. Людей вокруг почти не было, только трое или четверо мальчишек смотрели на меня. Я сидел в клетке.

Я сидел в клетке и сижу в ней до сегодняшнего дня. Если вам понравилась эта история, скажите хранителю зверинца. Дело в том, что у меня есть одна просьба к нему. От него почти не потребуются усилия. Пусть он пообещает исполнить. Понимаете ли, перед моей клеткой целыми днями стоит некий человек. Просто стоит. Он не показывает мне язык и не швыряется камнями,

как некоторые невежи. Он даже ничего не говорит. Но, видите ли... Он очень похож на другого человека. Нет, тот, другой, ничего мне не сделал. Вообще-то, мы почти не были с ним знакомы. Ну, что вам стоит. Скажите хранителю, чтобы он просто попросил человека уйти отсюда и больше не приходить. Если ему очень хочется, пусть приходит иногда, только не часто и не надолго. Почему?.. Знаете ли, иногда на глади вод появляется лицо — ты, да не ты, во взгляде — неосуществленное тобой и осуществленное им; он счастлив... Пусть он хотя бы стоит с закрытыми глазами или купит зеркало и посмотрит хоть раз на себя.

Олег Панин

* * *

Павлу Хлямову

1

Клубами дым из труб. Внутри
жилого дома, где тепло
меня согреет, «Отопри
же, отопри», — прошу я про

себя и вслушиваюсь, как
подходишь к двери, чтоб её
открыть, зачем-то на руках
неся с собой кота. Бельё

висит на кухне, сократив
объём жилплощади на треть;
едва доносится мотив
по ретрансляции. Смотреть

мне, в общем, не на что.
Давно
до мелочей весь антураж
звучком, обычно лишь в окно
смотрю на двор. Поймав
кураж,

шнурки развязывает кот,
уверенный, наверняка,

что объявлять ему бойкот
не стану. Возитесь, ага,
вдруг досадила. Виноват,
однако, сам. Но я не прочь
здесь задержаться, так что,
брат,
спасибо, что сумел помочь
мне развязать шнурки. Теперь
меня, разутого, никто
уже не выгонит за дверь.
Снимаю шапку и пальто —

дань холодам и октябрю.
Дымясь, снаружи дом похож
на паровоз. Благодарю,
что я сюда, как прежде, вхож,
его хозяев... и кота,
окно, мотив, бельё, тепло,
что буду помнить сквозь года,
всем неурядицам назло.

2

Когда бельё,
что снимешь ты
в моём присутствии, вернёт,
верней, навеет нам мечты
о том, как мужественно гнёт

и неизбежность тесноты
переживём, во что уже
почти не верится, но ты
меня поправишь: «В шалаше

возможен рай», —
и будешь прав;
я подойду опять к окну
и только, в лёгкие набрав
побольше воздуха, вздохну.

А за окном, в промозглой мгле,
заснула жизнь, скрипит петля
наружной двери, на стекле
не достаёт лишь мухи для

нежирной точки, для штриха
к портрету, мушки на лице
двора, готового в меха
одеть себя, когда глассе

снежинок вылетят в сугроб,
способный сглаживать углы,
но не способный хаос троп
предугадать. Кричат:

«Курлы», —

огромных галочек концы,
штрихи сторон и острия

наперебой — летят гонцы
от снега восвояси. Я

предположил, когда кричат
на небе клинья, — этот звук
мы слышим — вслух
считают чад
своих родители, на юг

неотвратно их «влача».
Часы на стенке смотрят за
прикосновением плеча
к стене, а, может, мне в глаза.

3

Когда ты сдержанно
молчишь,
царит в квартире тишина;
умолкло радио, и мышь
за стенкой спит; глядишь,
и на

меня однообразный ход
твоих часов нагонит сон;
лишь сердце дремлющего под
столом кота не в унисон,

так приблизительно в одном
с часами ритме бьётся, как
простой исправный метроном.
Темнеет. Близится закат.

Всему на свете есть предел,
всему отводится свой срок;
но, как бы я и не хотел
того, не смог сдержать зарок

и задержался как всегда,
вновь засиделся допоздна.

Ты улыбаешься мне, да
твой кот таращится со сна

чуть осовелым взглядом, он
уже не бросится к ногам
трепать шнурки.

В пыли плафон
горит на лестнице, накал

едва выхватывает из
кромешной тьмы лицо, глаза,
рукопожатие... раскис,
бродяга, не грусти! Чуть за

мною кот не выбежал. Опять
берёшь ты на руки его
и поворачиваешь вспять,
меня оставив одного.

А я твержу уже себе
под нос: «Плотнее дверь
за мною
запри», — поскольку в сентябре
уже повеяло зимой.

Аркадий Перенов

ИЗ ЦИКЛА «ЛИСТАТ. ИСТОРИИ ЦАРСТВА У»

БЛИЗНЕЦЫ ЗА РЕКОЙ

Ещё один рассказ Аркадия Перенова

Лео совсем не Малькольм, больше его одноименец Л. С., такой же в точности грустный клоун в твидовом пиджачке. Я ему говорю: «Скажи: „рядовой“». Лео: «Гядовой». «Скажи: «Республика», а он: «Геспублика». И не обижается, а затынет песню, такую щемящую, такую жалобную, что хоть плачь, хоть в неведомые края беги. Ну, насчёт неведомых стран я, конечно, покривил душой, ведомы они, конечно. Осенние, Пушистые, с зелёными огоньками — Хурамша, Унегетей, Иволга, Тарбагатай, Десятниково. Где к клубам, крашеным охрой, наносит целые сутробы багрянца, и белые голубки купаются в них, и я бросаюсь к Лео на шею и прошу не помнить старого зла.

Мы ездим в гости к его близняшке Хаиму. Класса до седьмого Хай жил в Удэ, а потом уехал в деревню, что за голубой, деревянной Иволгой. Пока он был с нами, от него можно было схлопотать тысячу и один подзатыльник за какое-нибудь слово или поступок. Ещё с малолетства, мастер кунфу, он так и говорил: «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают! И всё, что с тобой случится, мне было уже наперёд ведомо, всё это я во сне видел». А тут ещё идёт в порванной рубашке Лео со свежей царапиной на щеке. А Хай ему: «Ну что, моё еврейское горе, что мне от тебя, сбежать, что ли, чтобы ты за себя хоть чуть-чуть мог постоять. И как только три пары железных сапог износишь, тогда только и разыскивай меня». К чему и зачем, но мы с Лео записались в секцию бокса и ходили туда плясать под ударами различных царевичей, лишь бы Хаим не уезжал. Но Хай всё равно удрал, и мы садились на велосипеды и отправлялись к нему за реку.

Ну что за серебрянный блеск наших велосипедных колёс, что за Боема. Ветер всё время в лицо с синей травой-муравой, наших с Лео, когда вместе, а чаще всего порознь, заточений в пионерских лагерях. И Хаимовские письмульки, в тот самый час, когда все строятся на завтрак. Довольно зябко, а свитер заперт в каптёрке, и кеды без шнурков на босу ногу, и не говори «Прощай» — и не ложись спать с 1968 года. Я тоже пишу Хаиму письмо, когда стемнеет. Пишу что Бог на душу положит и спра-

шиваю его: «Снится ли он красным девушкам в деревне?» Это у меня такое чувство юмора, и вдруг вся веранда освещается от тысячи тысячи беленых лампочек нашей лагерной Массовки. Всё, я заканчиваю и бегу ломать твист вместе с остальными ребятами, пока не уморюсь и не сяду на свои индейские сараи. Чёрт, ну и дым от костров, а Лео, как я думаю, в своём лагере костровой и наверняка вспоминает сейчас обо мне. Я и ему пишу: «Риск, Рубикон, Реставрация, Религия». А он откуда и взялся, уже стоит передо мной.

— Ты откуда? — спрашиваю я у Лео.

— А я шёл к вам зелёным лугом, видел твою пионервожату, она мне и сказала, что ты здесь.

Я говорю: «Прости меня, Лео». За нами вся пионерская Матрейя, а у тебя опять рубашка без пуговицы, концы галстука обгрызены. Ты всё улыбаешься, а я такой беззаботный, наверное, оттого, что без тебя мне не о ком было заботиться, «скырлы, скырлы на липовой ноге, на берёзовой клюке». Мы с ним и уходим из лагеря, конечно же, спросясь, чтобы нас не искали. Идём мимо охряных сёл, мимо спящих клубов и магазинов, мимо кладбищ и детских садов, а Хаим, наш кунфуистский царевич, стоит на крыльце и говорит: «Назад пойдёте, вас никто не обидит».

Сентябрь 1996 г.

МАРИКА ТРАГЕР

Ещё один рассказ Аркадия Перенова

Марика Трагер — немка, немочка, мумушенька, это твои белые руки легли на мою шею на большой перемене на седьмой день седьмого месяца праздника звёзд. Да я ли это? Твой Бессамомучонок, два года разницы от Рождества. Санки с синими планками, на мушкетёрских плащах белые кресты, качающиеся бамбуковые мостики в шелухе конфетти, в общем, надвигающийся новогодний пожар.

Вы меня окликнули, госпожа, или мне показалось, там, на огненных реках, добрая Моревна раздавала апельсины школьной бедноте. Во лбу Солнце, на затылке месяц, по бокам звёзды.

— Ваше Величество, — девушка в белом свитере удивлённо оглядывается. Подхожу ближе, переминаясь с ноги на ногу. Шалтай-Болтай с циньчанской стены, я метал сюрикены, двумя руками, в том числе несколько «звёзд» одновременно. Вчера это было, мечты унесли меня далеко, — ах Марика! Невольно вздохну, очнувшись от волшебного сна, если Вы придёте ко мне и скажете: «Поцелуй меня в коричневом лесу, в зеленых перелесках». Я дотронулся до руки и: «Извините, госпожа».

Я обожал Марику Трагер и был готов бежать по примеру учителя Кобаяси Иссы рвать на зимних полянах цветы-надоеды. В туалете, в синем дыму папирос, меня толкают хохочущие твои одноклассники, вырываюсь, прыгаю через две ступени в страну

Мела, тишину Химико-алгебраических предсердий. Запишу в дневнике: «Видел Марику на школьном крыльце. Она так ласково смеялась, взъерошила мне волосы и, заставившую биться моё сердце сильнее: «Наконец-то ты мой». Небесный воин Мариситэн, я не заметил, как наступил вечер...»

Учитель вопрошающе обвёл взглядом всех учеников. Ему не хотелось никого принуждать. Наконец я не выдержал:

— Я пойду к доске, учитель.

Учитель молча кивнул, ободряюще улыбаясь, как бы желая удачи. И вдруг в наш класс врывается малолетка и истошно кричит: «Марика убилась! Выстрелила с себя на картошке».

Где вся блистайность Сентябрялей. С Ашными и Бэшными «тугезер» пьём водку на холодном ветру. Всё осунулось в природе. Дома, деревья, птицы кидаются серыми самолётками, люди все как один несчастные. На похоронах несую венки от школы «Нашей любимой, дорогой Маричке». Пью компот на поминках, ем кутью с Марикиными старушками. Почему никто не видит в окнах лицо господина Д'Сэнт Бри. Летят из нарисованного рта голуби и голубки. Есть и беленькие. Скажи, что не плачешь? И мне не плачется, только икается на нервной почве.

Шалтай-Болтай с циньчжанской стены, перебреду огненные реки и увижу Марину, упавшую после выстрела в кусты боярышника в том белом свитере, ставшим красным и тяжёлым от крови. Мне казалось, что вокруг много говорят и что-то ищут, там, далеко на Земле. Я прищурился и увидел ягоды боярышника, обгоревшие спички, пуговицы, жёлтые японские зубочистки в виде сабелек.

Возвращался с поминок и вспоминал, как в прошлом году были с Марикой в Уточкиной пади, на закованных качелях, и она заглядывала мне в глаза, спрашивала: «А ты храбрый человек?» Я подумал и сказал, что у моей храбрости односторонняя заточка, и вообще я соблюдаю дистанцию «ма-ай». В алом лесу это было, да мы ещё лежали в лучах заходящего Солнца. Марика притянула меня к себе и поцеловала в губы. Когда тигр прыгает, он не думает о прыжке, и поэтому его прыжок само совершенство. Мне кажется, что я никогда и не уходил из этого леса. Белки прыгали по веткам, свистели бурундуки, а моё сердце было полно грусти к этой славной девушке. Она говорила, что она старше, и её парень настоящий Тарзан от обезьян, но она не вполне уверена, что любит его. Мне-то что, но, наверное, умение плавать значило необыкновенно много. Марика поняла моё настроение и, взяв мою руку, прижала к своему сердцу, безошибочно выбирая путь в густых сумерках.

И много лет, и дней, и ночей не будет мне покоя. Я многого достигну, научусь плавать и под живыми, и под неоновыми звёздами, но золотое дуновение Маричкиной жизни всё время горчит на моих губах. Да и в том алом лесу, в лучах заходящего Солнца, я никогда, никогда не сажусь на корточки, чтобы госпожа Марика ощущала моё присутствие, хотя бы по тени.

Алексей Калинин

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

Зимние в прошлом остались угрозы,
Почкам вот-вот распуститься пора.
Контрнаступление Деда Мороза
Выдохлось начисто в полдень вчера.

Утром унылым, исколотым стужей
Мчалась позёмка на белую гладь,
Кромки кристаллов блестели на луже.
Ветер мне шляпу грозился сорвать.

К вечеру, ввергнута в тёплое лоно,
Плещется местность в весёлой воде,
Даже в канавах на северных склонах
Пятнышек белых не видно нигде.

Радостно к городу поезд струится,
А за окном, между желтых полей,
Сопровождает мой взор вереница
Непробуждённых ещё тополей.

Скоро они в униформе зелёной
Замаршируют навстречу теплу,
Песнею, в новый порядок влюблённой,
Вширь разливая светилу хвалу,

И, не растратив любовь свою втуне.
Не забывая про подвиг ничей,
Вождь золотой на небесной трибуне
Будет встречать их подъёмом лучей.

Радость — в душе долговременный житель
Вот — её голос — опять и опять:
Ах, разрешите и мне, разрешите
В этом параде участие принять?

Вот и закат опускает корону
К западу, в край петергофов и нарв...
Тихо к метро я бреду по перрону,
В сумку засунув бессмысленный шарф.

ХОЧУ В ЯЛТУ

Спасите, спасите,
В пучине событий
Душа обращается в ноль!
Спружинились нити,
А дыр — словно в сите,
Как будто бы ест ее моль.

По снежной странице
Автобус влачится,
И маятся в нём тяжело
Угрюмые лица,
Чьи взоры — как спицы,
И злобой сердца замело.

Сквозь тучи мне шарик
Луча не подарит,
А мир обезжирен и груб.
О, мерзкие хари,
Где тлеет хабарик.
Зажатый сосисками губ!

Желаю без меры
Прорвать сумрак серый,
Смеяться, и прыгать, и петь.
Под синюю сферой,
С безоблачной верой,
Где блещет небесная медь!

И в южный тот город,
Где холод поборот,
(И зелень там год круглый ведь!)
Где волн с берегом споры,
И есть рядом горы,
Так хочется мне полететь!

Где с трубкой — усатый,
С сигарой — пузатый,
(В учебниках дату найду)
В коляске — безногий, —
Трех царств полубоги
Встречались в каком-то году.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Борис Парамонов. Пушкин сегодня (к проблеме мультикультурализма)	6
Лев УСЫСКИН. Биография Пушкина (конспект)	13
Роберт БРАУНИНГ. Два стихотворения из книги «Мужчины и женщины». Перевод с английского и вступительная заметка Алексея Кокотова	26
Райнер Мария РИЛЬКЕ. Пантера. [Последнее стихотворение]. Перевод с немецкого Алексея Пурина	40
С. В. СОЛОВЬЕВ. Пустошь (Вольный перевод поэмы «The Waste Land» Т. С. Элиота)	43
Уоллес СТИВЕНС. Стихотворение. Перевод с английского Алексея Цветкова	67
Богумил ГРАБАЛ. Рассказы. Перевод с чешского и вступительная заметка Марии Мартинковой	71
Рутгер КОПЛАНД. Стихотворения. Перевод с голландского Ирины Михайловой	86
Александр КОНДРАТОВ. Из цикла «Пирры и ямбы»	90
Кирилл КОБРИН. Превратности жанра	94
Николай УПЕРС. Второе рождение. Стихотворение. Публикация, подготовка текста и послесловие Алексея Пурина	98
Л. АРСЕНЬЕВ. Auh rucis	106

II

Павел НЕКЛЮДОВ. Стихотворения	114
Василий КОВАЛЕВ. Стихотворения	120
Михаил ОКУНЬ. Суббота, воскресенье... Рассказ	123
Денис ДАТЕШИДЗЕ. Вариации на старые темы. Стихотворения	127
Сергей ДЕНИСЕНКО. «Geschichten, vom teufel erzählt» («Истории, рассказанные чертом»)	133
Алексей КИРДЯНОВ. Из цикла «Временной стиль». Стихотворения	148
Инна ЛЕСОВАЯ. Место на фотографии	156
Олег ДОЗМОРОВ. Стихотворения	181
Виктор ПИВОВАРОВ. Из книги «Натюрморты (1987—1993)»	185
Андрей СТЕБЕЛЕВ. Стихотворения	190
Лидия ЮСУПОВА. Письма советской школьницы поэтессе Сапфо	192
Олег КЛИШИН. Стихотворения	197
Даниил ДАВЫДОВ. Рукопись, найденная в клетке	200
Олег ПАНИН. Стихотворение	209
Аркадий ПЕРЕНОВ. Из цикла «Листат. Истории царства У»	211
Алексей КАЛИНИН. Стихотворения	214

**В 1998—1999 гг. ВЫШЛИ В СВЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКИ АЛЬМАНАХА «URBI»:**

- *Выпуск пятнадцатый. Очерки о названиях и пространствах России.* 1998. (В числе авторов — Андрей Сергеев, Борис Рыжий, Кирилл Кобрин, Алексей Машевский, Александр Шаталов, Владимир Садовский, Алексей Кирдянов, Вадим Демидов, Дмитрий Зернов, Валентина Мордерер, Григорий Амелин, Алексей Пурин, Игорь Померанцев, Юрий Шилов, Леонид Гиршович.) 208 с.
- *Выпуск шестнадцатый. Алексей Пурин. Архаика.* Книга стихов. 1998. (Серия «Новый Орфей», выпуск первый.) 176 с.
- *Выпуск семнадцатый. Елена Невзглядова. Звук и смысл.* 1998. (Разделы: «Теория стихотворной речи», «О поэзии», «О прозе».) 256 с.
- *Выпуск восемнадцатый. Кирилл Кобрин. От «Мабиногион» к «Психологии искусства».* Избранные опыты на историко-культурные темы. 1999. (Серия «Кабинет доктора Калигари», выпуск первый.) 72 с.
- *Выпуск девятнадцатый. Владимир Садовский. Краткая характеристика.* 1999. (Рассказы.) 56 с.

**В 1998—1999 гг. ВЫШЛИ В СВЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКИ АЛЬМАНАХА «URBI»:**

- *Выпуск двадцатый. Игорь Померанцев. Почему стрекозы?* 1999. (Книга стихов.) 136 с.
- *Выпуск двадцать первый. Елена Елагина. Нарушение симметрии.* Книга стихов. 1999. (Серия «Новый Орфей», выпуск второй.) 112 с.
- *Выпуск двадцать второй. Игорь П. Смирнов. Свидетельства и догадки.* 1999. (Серия «Новые записные книжки», выпуск третий.) 128 с.
- *Выпуск двадцать третий. Яннис Пасхалис. Царство героев.* 1999. (Серия «Juvenilia», выпуск первый.) 136 с.
- *Выпуск двадцать пятый. Денис Датешидзе. Мерцание.* 1999. (Книга стихов. Серия «Новый Орфей», выпуск третий.) 60 с.